

Глава I

ПОЧЕМУ ТОМАС ВИНГФИЛД РАССКАЗЫВАЕТ СВОЮ ИСТОРИЮ

Хвала Богу, даровавшему нам победу! Сила Испании сломлена, корабли ее потонули или бежали, морская пучина поглотила сотни и тысячи ее моряков и солдат, и теперь моя Англия может вздохнуть спокойно*. Они шли, чтобы покорить нас, чтобы пытать нас и сжигать живьем на кострах, они шли, чтобы сделать с нами, вольными англичанами, то же самое, что Кортес сделал с индейцами Анауака**. У наших сыновей они хотели отнять свободу, а у наших дочерей — честь; наши души они хотели отдать попам, а наши тела и все наше достояние — папе римскому и своему императору! Но Бог ответил им

* Речь идет о гибели так называемой Непобедимой армады, флота католической Испании, состоявшей из 130 кораблей с 2400 орудиями и 19 тысячами солдат, не считая матросов. С 21 по 27 июля 1588 года англичане в трех последовательных сражениях нанесли испанцам значительный урон, а затем внезапный шторм, отогнавший испанские корабли к Оркнейским островам, довершил разгром. — *Примеч. пер.*

** А н а у а к — древнее туземное название государства ацтеков, расположенного на территории современной Мексики. Здесь и далее все географические названия и исторические имена, которые автор иногда произвольно сокращает, даются полностью в современной транскрипции. — *Примеч. пер.*

бурей, а Дрейк* ответил им пулями. Они исчезли, и вместе с ними исчезла слава Испании.

Я, Томас Вингфилд, услышал об этом сегодня, в четверг, на бангийской базарной площади, куда приехал, чтобы потолковать с людьми и продать яблоки — те, что уцелели в моем саду после страшных штормовых ветров, оголивших в нынешнем году почти все деревья.

Всякие слухи доходили до меня и раньше, но сегодня в Банги я встретил человека по имени Юнг, из рода ярмутских Юнгов, который сам сражался на ярмутском корабле в битве при Гравелине**, а потом преследовал испанцев дальше, на север, до тех пор, пока они не погибли в Шотландском море.

Говорят, что малое порождает великое, но здесь случилось наоборот: великое породило малое. Эти славные события побудили меня, Томаса Вингфилда из Лоджа, прихожанина дитчингемского прихода графства Норфолк, взяться на склоне лет за перо и бумагу, несмотря на глубокую старость и на то, что жить мне осталось совсем немного.

Десять лет назад, в 1578 году, когда наша милостивая королева Елизавета была проездом в здешних краях, ее величество пожелала увидеть меня в Норидже. В тот день она сказала, что слухи обо мне дошли до нее, и повелела рассказать ей что-нибудь интерес-

* Дрейк Фрэнсис (1545–1595) — английский мореплаватель и пират, получивший за сражение с испанцами дворянский титул сэра. Первым повторил кругосветное путешествие Магеллана. Участвовал в разгроме «Непобедимой армады». — *Примеч. пер.*

** Гравелин — маленький порт на побережье Франции, близ которого 27 июля 1588 года произошло третье, решающее сражение английского флота с «Непобедимой армадой». — *Примеч. пер.*

ное из моей жизни, вернее — из тех двадцати с лишним лет, которые я провел среди индейцев в то время, когда Кортес покорял их страну Анауак, известную ныне под именем Мексики. Но едва я успел приступить к рассказу, как ее величеству уже пришлось отправиться в Коссэй на оленью охоту. Уезжая, королева пожелала, чтобы я изложил свою историю на бумаге, дабы она могла ее прочесть, и сказала, что, если эта история окажется хотя бы наполовину столь занимательной, какой обещает быть, она пожалует мне титул баронета и я окончу свои дни сэром Томасом Вингфилдом. На это я ответил, что никогда не умел обращаться с такими вещами, как перо и бумага, однако повеление ее величества постараюсь исполнить. Затем я осмелился преподнести ей большой изумруд, один из тех, что некогда украшали шею дочери Монтесумы, а до нее — многих других принцесс. При виде этого изумруда глаза ее величества засверкали так же ярко, как сам драгоценный камень, ибо наша королева любит подобные безделушки. Наверное, если бы я захотел, я мог бы заключить с нею сделку и тут же получить свой титул в обмен на изумруд, но я много лет был вождем могущественного племени и теперь не желал становиться чьим бы то ни было слугой. Поэтому я просто поцеловал королевскую руку, которая так крепко сжала драгоценный камень, что все косточки ее побелели, простился и в тот же день вернулся к себе домой в долину Уэйвни.

Я не забыл, однако, пожелания королевы и давно уже собирался изложить на бумаге историю своей жизни, пока еще моя жизнь и моя история не оборвались одновременно. Для меня, человека в подобных делах не искусенного, задача эта поистине нелегка. Но мне ли страшиться трудностей, когда уже близок час вечного отдохновения? Я повидал такое,

чего не видел ни один англичанин и о чем стоит порассказать.

Жизнь моя была необычайна. Много раз, когда я думал, что уже погиб и спасения нет, провидение спасало меня, может быть, только для того, чтобы люди узнали мою историю и извлекли из нее урок, ибо все, что я пережил и перевидал, свидетельствует об одной непреложной истине: зло никогда не приносит добра, зло порождает только зло и в конце концов обрушивается на голову того, кто его творит, будь то один человек или целый народ.

Вспомните хотя бы судьбу Кортеса, этого великого завоевателя! Я его знал в те дни, когда он обладал почти божественной властью, а лет сорок назад, как мне говорили, прославленный Кортес умер в Испании в немилости и нищете*. Так-то! И еще я слышал, что сын Кортеса дон Мартин был подвергнут пыткам в том самом городе, который его отец с такой неслыханной жестокостью завоевывал для испанцев. Все это в порыве отчаяния предсказала Кортесу первая и любимейшая из его подруг, Малиналь, — испанцы ее называли Мариной, — когда Кортес бросил ее и отдал в жены дону Хуану Харамилью, позабыв обо всем, что их связывало, и о том, что она не раз спасала от верной смерти его самого и его солдат.

А вспомните судьбу самой Марины! Она любила своего мужа Кортеса, или Малинцина, как его начали из-за нее называть индейцы, и ради него предала свою родину. Если бы не Марина, испанцы никогда бы не овладели Теночтитланом, или, как теперь говорят, Мехико. Ради своей любви она пожертвовала честью, но

* В действительности завоеватель Мексики Эрнандо Кортес (1485—547) до конца своих дней был несметно богат и носил титул герцога. — *Примеч. пер.*

что она получила взамен? Что хорошего принесло ей содеянное зло? В награду за все, когда красота Марины поблекла, ее отдали в жены другому, менее знатному человеку, точно так же, как отслужившую свое скотину продают более бедному хозяину.

Вспомните также судьбу столь могущественного народа, как народ Анауака. Он творил зло во имя добра, в жертву своим ложным богам он приносил тысячи человеческих жизней, надеясь, что боги пошлют ему мир, благоденствие и богатство на многие поколения. Но как ответил им истинный Бог? Вместо богатства он ниспослал разорение, вместо мира — испанский меч, а вместо благоденствия — горе, пытки и рабство. И все это потому, что они приносили своих детей на алтари Уицилопочтли и Тескатлипоки*.

Или возьмите самих испанцев. Во имя милосердия они творили такие жестокости, какие и не снились язычникам-ацтекам; во имя Христа они каждодневно нарушали все его заповеди. Неужто они будут торжествовать, неужто эти злодеяния принесут им счастье? Я слишком стар и не доживу до того, чтобы увидеть собственными глазами ответ на мой вопрос. Но уже теперь ответ этот ясен. Я знаю, что все злодеяния испанцев падут на их собственные головы, и уже теперь вижу этот самый гордый на свете народ обесславленным, обесчещенным и разоренным, несчастным заморышем, у которого нет ничего, кроме великого прошлого. То, что Дрейк начал недавно под Гравелином, Бог в иное время завершит повсеместно. От могущества Испании не останется и следа, империя испанцев исчезнет, как исчезла империя Монтесумы.

* Уицилопочтли — «колдун колибри», бог войны и солнца; Тескатлипока — «дымящееся зеркало», главный бог ацтеков. Обоим богам приносили человеческие жертвы. — *Примеч. пер.*

Так вершатся события великие, о которых известно всем, и точно так же было в жизни столь безвестного человека, как я, Томас Вингфилд. Воистину небеса были милостивы ко мне: они дали мне время раскаяться в грехах, которые обратились против меня самого, ибо я присвоил себе право Всемогущего и возомнил себя орудием мести в его деснице. То была справедливая кара! Зная это, я и решился написать историю своей жизни, дабы она послужила другим в назидание.

Как я уже говорил, мысль эта зрела во мне долгие годы, хотя, по совести сказать, впервые заронила ее королева. Но лишь теперь, когда я достоверно узнал о судьбе «Непобедимой армады», эта мысль дала наконец росток. А принесет ли она плод — бог весть! Ибо события последних дней странным образом взволновали меня и перенесли во времена моей юности, наполненной страстями, битвами и невероятными приключениями, когда я сражался против тех же самых испанцев за себя, за Куаутемока и за народ отоми. Давно я не вспоминал об этом, и сейчас те годы вновь оживают предо мной. У меня такое чувство, словно то, что я пережил в далеком прошлом, и было моей настоящей жизнью, а все остальное — лишь сновидением. Со стариками такое случается.

Из окна комнаты, где я пишу, видна мирная долина Уэйвни. За рекой простираются обширные земли, поросшие золотистым дроком, дальше виднеются развалины замка и красные крыши Банги, сгрудившиеся вокруг колокольни церкви Святой Марии, а еще дальше раскинулись королевские леса Стоува и поля фликстонского аббатства. На правом крутом берегу реки зеленеют дубравы Иршема, по лугам низменного левого берега, словно пестрые пятна, чуть приметно движутся стада Беклса и Лоустофта, а позади по травянистому склону холма, который в старину называли

Графским Виноградником, поднимается террасами мой парк и фруктовый сад. Все тут, но сейчас у меня такое чувство, словно ничего этого не существует. Вместо долины Уэйвни я вижу долину Теночтитлана, вместо косогорьев Стоува — снежные склоны вулканов Истаксиуатля и Попокатепетля, вместо шпиля Иршема и колоколен Банги, Дитчингема и Беклса передо мной вздымаются жертвенные пирамиды, озаренные священным пламенем, а там, где на мирных лугах пасутся стада, я вижу всадников Кортеса, рвущихся в бой. Все вернулось ко мне. Все, что было жизнью. Остальное — сон.

Я снова чувствую себя молодым, и теперь, если судьба даст мне время, я постараюсь рассказать историю своей жизни, прежде чем отойду в мир вечных сновидений и навсегда упокоюсь на деревенском кладбище.

Я давно уже начал свой труд, но пока была жива моя дорогая жена, покинувшая меня совсем недавно, в прошлое Рождество, завершить его я все равно бы не смог. По совести говоря, моя жена любила меня так, как, я думаю, мало кого любили. Мне посчастливилось. Но в моем прошлом было много такого, что омрачало ее любовь и вызывало в ней ревность, ревность к мертвой. Впрочем, это чувство смягчалось в ее благородной душе самым искренним и полным прощением. Сердце моей жены терзало иное тайное горе, и я это знал, хотя сама она никогда ничего не говорила.

У нас родился лишь один ребенок, да и тот умер в младенчестве. Сколько жена ни молила Бога послать ей другого, все мольбы ее оставались тщетными, и я, вспоминая слова Отоми, думал, что вряд ли эти мольбы помогут. Но жена моя знала, что прежде за океаном у меня были дети от другой женщины, которых я любил и которых буду всегда любить так же сильно, хотя

все они умерли много лет назад, и это терзало ей душу. Она могла простить, что я был женат на другой, но то, что эта женщина родила мне детей, которые были все еще дороги моему сердцу, — этого она, даже все простив, забыть не могла, ибо сама была бездетна.

Я мужчина и не могу объяснить причину ее тоски. Кто поймет любящее женское сердце? Но было именно так. Однажды мы даже поссорились из-за этого, поссорились в первый и последний раз.

Случилось это на второй год после нашей свадьбы, через несколько дней после того, как мы похоронили на дитчингемском кладбище наше дитя. Однажды ночью, когда я спал рядом с моей женой, мне приснился удивительно яркий сон. Мне снилось, что вокруг меня собрались все мои сыновья, все четверо, и самый большой держал на руках моего первенца, младенца, умершего во время великой осады. Они пришли ко мне, как частенько приходили в те времена, когда я правил народом отоми в Городе Сосен, они говорили со мной, одаривали меня цветами и целовали мне руки. Я любовался их силой и красотой, и гордость переполняла мое сердце. Во сне мне чудилось, будто я избавился от большого горя, будто я наконец опять встретил моих дорогих детей, которых некогда потерял. Увы! Что может быть страшнее подобных снов? Сновидения, как бы насмехаясь над нами, воскрешают мертвых, возвращают нам тех, кто дорог, а потом рассеиваются и оставляют нас в еще большей и горшей скорби.

Так вот, мне явилось подобное сновидение, и во сне я разговаривал со своими детьми, называя их самыми ласковыми именами, пока наконец не проснулся. И тогда, ощутив всю боль утраты, я разрыдался в голос.

Было уже раннее утро. Лучи августовского солнца проникали в окно, но я все еще продолжал лежать и плакать. Окруженный видениями сна, я повторял

сквозь слезы имена тех, кого уже никогда не увижу. Я надеялся, что жена моя спит, но случилось так, что она проснулась и слышала, как я разговаривал с мертвыми и во сне, и потом. И хотя я произносил некоторые слова на языке отоми, все остальное было на английском, а потому, зная имена моих детей, жена все поняла. Внезапно она соскочила с постели и встала передо мной. В глазах ее сверкал такой гнев, какого я в них не видал никогда — ни до, ни после. Но и в этот раз он почти тотчас сменился слезами.

— Что с тобой, жена моя? — спросил я с удивлением.

— Ты думаешь, мне легко слышать такие слова из твоих уст? — сказала она в ответ. — Разве мало того, что я пожертвовала ради тебя своей молодостью и была верна тебе даже тогда, когда все до последнего считали тебя погибшим? О том, как ты сам хранил мне верность, тебе лучше знать. Но разве я хоть когда-нибудь упрекала тебя, хотя ты позабыл меня и женился на дикарке?

— Никогда, моя милая. Но ведь и я никогда тебя не забывал, — ты это прекрасно знаешь. Меня только удивляет, что ты ревнуешь к той, которой давно уже нет!

— Разве к мертвым ревнуют? Можно спорить с живыми, но как бороться с любовью, которую смерть отметила печатью совершенства и сделала бессмертной? Однако это я тебе прощаю, потому что могу потягаться с той женщиной. Ведь ты был моим до нее и остался моим после. Но дети, дети — это другое дело! Дети были только ее и твоими. Моего в них нет ни кроиночки, ни частицы. И я знаю, что ты любил их живых, любишь их мертвых и будешь любить их вечно, даже за гробом, если только встретишься с ними на том свете. А я уже стара. Я постарела за те двадцать с лишним лет, пока ждала тебя, и теперь

я уже не рожу тебе других детей. Я принесла тебе одного, но Бог прибрал его, чтобы я не была слишком счастлива. Ты даже имени его не произнес среди тех других странных имен! Мой несчастный крошка был для тебя слишком маленьким!..

Здесь она запнулась и залилась слезами, а я счел за лучшее промолчать, ибо действительно между теми детьми и этим ребенком была большая разница: все мои сыновья, за исключением первенца, умерли почти юношами, в то время как ее младенец не прожил и двух месяцев.

Так вот, когда королева впервые подсказала мне мысль написать историю моей жизни, я сразу вспомнил об этой размолвке со своей любимой женой. Я не мог написать правду, потому что мне пришлось бы умолчать о той, которая также была моей женой, об Отоми, дочери Монтесумы, принцессе народа отоми, и о детях, которых она мне родила. И вот я решил тогда вовсе не браться за перо потому, что, хотя мы почти не говорили об этом за все прожитые вместе годы, я знал, что моя Лили ничего не забыла и ревность ее, будучи особого, более тонкого свойства, не только не угасала со временем, а, наоборот, возрастала. Написать же обо всем так, чтобы жена моя ничего не знала, я не мог, ибо до последних дней она следила за каждым моим шагом и, кажется, даже читала мои мысли.

Так мы и старели бок о бок, и годы текли безмятежно. Мы редко вспоминали о том большом промежутке, когда были потеряны друг для друга, и о том, что тогда произошло. Но всему приходит конец. Моя жена внезапно умерла во сне на восемьдесят седьмом году жизни. Я похоронил ее, глубоко скорбя, однако скорбь моя не была безутешной, ибо я знал, что скоро встречу и с ней, и со всеми другими, кого любил.

Там, в небесах, ждут меня моя мать, и сестра, и мои сыновья; там ожидает меня мой друг Куаутемок, последний император ацтеков, и многие другие, опередившие меня соратники по оружию; и там же, хотя она в этом сомневалась, встретит меня моя прекрасная, гордая Отоми. На небесах, которых я надеюсь достичь, все грехи моей юности и ошибки зрелого возраста будут преданы забвению. Говорят, что там нет ни замужних, ни женатых, и это очень хорошо, потому что иначе я просто не знаю, как ужились бы между собой обе мои жены, гордая дочь Монтесумы и нежная дочь английского сквайра*.

А теперь приступим к рассказу.

Глава II

СЕМЬЯ ТОМАСА ВИНГФИЛДА

Я, Томас Вингфилд, родился здесь, в Дитчингеме, в той самой комнате, где сейчас пишу. Мой отчий дом был выстроен или основательно переделан во времена царствования Генриха VII, но уже задолго до этого на том же месте стояло какое-то строение, известное под названием Сторожки Садовника. Здесь некогда жил сторож виноградника. В древности склоны холма, на котором стоит наш дом, омывали волны залива, а может быть, и открытого моря. Во времена эрла** Бигода весь холм был покрыт виноградниками; должно быть, климат был раньше мягче или земледельцы прежних веков искуснее. С тех пор прошло много лет, виноградные гроздья давно уже перестали здесь вызревать,

* С к в а й р — дворянин, помещик. — *Примеч. пер.*

** Э р л — староанглийский титул знатного человека. С XI столетия и до наших дней равнозначен титулу графа. — *Примеч. пер.*

однако имя «Графский Виноградник» так и осталось за всей этой местностью, расположенной между нашим домом и целебным источником, который бьет из-под земли в полумиле отсюда; чтобы искупаться в его водах, люди приезжают даже из Нориджа и Лоустофта. Но и по сей день здешние сады, защищенные от восточных ветров, зацветают на две недели раньше, чем во всей округе, и даже в майские холода здесь можно ходить без плаща, в то время как на вершине холма, на какие-нибудь двести шагов повыше, дрожь пробирает даже под курткой из меха выдры.

«Сторожка» — так попросту называли стоявшее здесь строение — была вначале обыкновенным крестьянским домом. Обращенный окнами на юго-запад, он расположен так близко от берега, что кажется дамбой, которую вот-вот захлестнут волны Уэйвни, текущей совсем рядом среди низин и лугов. Но это впечатление обманчиво. Хотя осенью в сумерках его и окутывает мга — так у нас в Норфолке называют стелющийся по земле туман, — хотя во время половодий река иной раз заливает на заднем дворе конюшни, наш дом, выстроенный на фундаменте из песка и гравия, считается самым здоровым жилищем во всем приходе. Он сложен из красного кирпича и кажется одновременно причудливым и очень милым со своими многочисленными выступами и башенками на крыше, утопающими летом среди вьющихся роз и других ползучих растений. Из окон открывается вид на луга и выгоны, краски которых беспрестанно меняются в зависимости от времени года и часа дня, на красные крыши Банги и на лесистый вал, окружающий иршемские земли. Есть, конечно, в наших местах дома побольше и побогаче, но этот старый дом мне всего милее, ибо здесь я родился, здесь жил и здесь надеюсь умереть.

Я уделил этому описанию, пожалуй, слишком много времени, как, наверное, сделал бы каждый из нас, если бы речь шла о месте, которое стало нам дорого в силу многолетней привычки. А теперь я расскажу о своей семье.

Прежде всего я хотел бы сказать — и не без гордости, ибо кто из нас не гордится старинным именем, которое нам дарит случайность рождения? — что я принадлежу к роду Вингфилдов, из Вингфилдского замка в Суффолке, расположенного отсюда в каких-нибудь двух часах езды верхом. Когда-то в старину наследница Вингфилдов вышла замуж за некоего де ля Поля, семья которого весьма известна в нашей истории: последний из де ля Полей, Эдмунд, граф Суффолкский, в дни моей юности был обезглавлен за измену. Так вот, замок Вингфилд вместе с наследницей перешел к де ля Полю. Однако в окрестностях осталось несколько семейств из боковых ветвей древнего рода Вингфилдов. Кажется, они имели герб с полосой на левой стороне щита, но герб меня никогда не интересовал, да и не интересуется. Важно только то, что мои предки и я происходим именно из этого рода.

Мой дед, человек неглупый, по складу своему был скорее йоменом*, нежели сквайром, хотя и происходил из дворянского рода. Он-то и купил этот дом с прилегающими к нему землями и сколотил кое-какое состояние, главным образом благодаря разумному образу жизни и удачным женитьбам — имея лишь одного сына, он был женат дважды, — а также благодаря торговле скотом.

При всем этом дед мой был набожен почти до ханжества и, как ни странно, во что бы то ни стало хотел сделать своего единственного сына священником.

* Й о м е н — свободный крестьянин. — *Примеч. пер.*

Однако мой отец не имел ни малейшего призвания ни к карьере священнослужителя, ни к монастырской жизни. Напрасно дед денно и ночью наставлял его на путь истинный — то уговорами и примерами из Писания, то увесистой дубинкой из остролиста, которая до сих пор висит у меня над камином в малой гостиной. Кончилось все это тем, что отца послали в наш бангийский монастырь, где он повел себя так, что не прошло и года, как настоятель монастыря потребовал, чтобы родители забрали его обратно и сами нашли ему какое-нибудь дело в светской жизни. Настоятель сказал, что мой отец не только давал повод для всяких кривотолков в приходе, удирая по ночам из монастыря в питейные дома и прочие злачные места, но дошел до такой наглости, что осмелился подвергать сомнению и насмешкам самое учение святой церкви. Так, например, он говорил, будто в статуе Девы Марии, что стоит в часовне, нет ничего божественного, и во время молитвы, когда священник славил Святого Духа, бесстыдно подмигивал Деве в присутствии всей монастырской братии.

— Посему, — сказал в заключение настоятель, — я прошу вас забрать своего сына, дабы он попал на костер каким-либо иным путем, а не прямехонько из ворот бангийского монастыря!

От всего этого дед мой пришел в такую ярость, что его едва не хватил удар. Затем, немного успокоившись, он взялся за свою дубинку из остролиста и хотел было пустить ее в ход. Но тут мой отец, который в свои девятнадцать лет был парнем статным и очень сильным, вырвал дубинку из его рук и забросил ее самое малое ярдов* на пятьдесят. При этом он сказал, что отныне

* Ярд — английская мера длины, равная 0,914 метра. — *Примеч. пер.*

ни один человек не посмеет до него и пальцем дотронуться, будь он хоть сто раз его отцом, а затем вышел, оставив моего деда и настоятеля тарашить друг на друга глаза.

Чтобы долго не тянуть, расскажу, чем все кончилось. Мой дед и настоятель дружно решили, что истинная причина непокорности моего отца заключается в страсти, которую ему внушила одна девица низкого происхождения, смазливая дочка мельника с вайнфордских мельниц. Может быть, они были правы, а может быть, и нет. Никакого значения это не имеет, поскольку девица вскоре вышла замуж за мясника из Беклса и умерла много лет спустя в нежном возрасте девяноста пяти лет от роду. Но как бы ни была ошибочна такая догадка, мой дед в нее поверил и, хорошо зная, что разлука является самым надежным средством от любви, поговорил с настоятелем, задумав отослать моего отца в Испанию, в один из монастырей Севильи, в котором брат настоятеля был аббатом, дабы юноша позабыл там о дочери мельника и обо всех прочих светских соблазнах.

Узнав о таком решении, мой отец согласился с ним довольно охотно: несмотря на свою молодость, он был достаточно умен и очень хотел повидать мир, хотя бы из окошка монастыря. В конечном счете его препоручили заботам испанских монахов, прибывших в Норфолк для поклонения нашей Божьей Матери Уолсингемской, и он вместе с ними отбыл в заморские края.

Говорят, мой дед на прощание заплакал, словно предчувствуя, что больше уже не увидится со своим сыном. Однако его вера или, точнее, его суеверие было настолько сильно, что он без колебаний отослал своего сына на чужбину, хотя и не имел к тому ни малейшего повода. Он пожертвовал своей любовью и своей

плотью точно так же, как Авраам пожертвовал сыном своим Исааком*.

Мой отец сделал вид, что согласен стать жертвой вроде Исаака, однако в глубине души он меньше всего был готов взойти на алтарь для заклания. В действительности, как он сам потом говорил, у него были совсем иные намерения.

Полтора года спустя после того, как отец отплыл из Ярмута, от аббата севильского монастыря пришло письмо для его брата, настоятеля монастыря Святой Марии Бангийской. В нем аббат сообщал, что мой отец сбежал из монастыря, не оставив никаких следов. Эти известия сильно огорчили деда, однако он ничего не сказал.

Прошло еще два года, и до моего деда дошли новые слухи. Ему сказали, что его сын пойман, передан в руки Святого Судилица, как в те времена называли инквизицию, и замучен во время пыток в Севилье. Услышав об этом, мой дед разрыдался и проклял себя за безумную мысль обратить к церковной карьере того, кто не имел к ней ни малейшего призвания, что привело к постыдной смерти его единственного сына. После этого он разругался с настоятелем монастыря Святой Марии Бангийской и перестал жертвовать на монастырь. Но все же он так и не поверил, что мой отец действительно умер, ибо два года спустя перед смертью он говорил о нем так, словно он был жив, и оставил ему подробные распоряжения относительно земли, которую ему завещал.

В конечном счете оказалось, что дед верил не напрасно. Однажды, года через три после его смерти,

* Намек на библейскую легенду, согласно которой Авраам принес в жертву Богу своего сына Исаака, которого ангел спас в последнее мгновение. — *Примеч. пер.*

в Ярмутском порту высадился не кто иной, как мой отец, который отсутствовал без малого восемь лет. Он прибыл не один: вместе с ним с корабля сошла его жена, очаровательная молодая дама, которая впоследствии стала моей матерью. Она была испанкой из благородной семьи, уроженкой Севильи, и ее девичье имя было донья Луиса де Гарсиа.

Я толком не знаю, что пережил мой отец за те восемь лет. Сам он почти ничего об этом не говорил. Однако о некоторых его приключениях можно рассказать.

Я знаю, что он действительно побывал в руках Святого Судилища, потому что однажды, когда мы купались в затоне Уэйвни, расположенном ярдов на триста ниже нашего дома, я заметил, что его грудь и руки исполосованы длинными белыми шрамами. До сих пор помню, как я спросил отца, что это за шрамы. Его доброе лицо почернело от ненависти; отвечая скорее самому себе, чем мне, он сказал:

— Это сделали дьяволы. Это сделали дьяволы по приказу сатаны, который бродит по земле и будет царем в аду. Слушай, сын мой Томас! Есть такая страна, которая зовется Испанией. Там родилась твоя мать, и там дьяволы предают пыткам мужчин и женщин. Там они сжигают людей живьем во имя Христа! Меня предал тот, кого я называю сатаной, хоть он моложе меня на три года, и я попался в лапы дьяволов. Эти шрамы оставили на моем теле их клещи и раскаленное железо. Они бы сожгли и меня живьем, если бы твоя мать не помогла мне бежать! Но такие вещи — не для ушей ребенка. Не проговорись, Томас! У Святого Судилища руки длинные! Ты наполовину испанец — об этом говорят твои глаза и цвет кожи. Но что бы ни говорили твои глаза и кожа, пусть сердце твое говорит другое. Пусть сердце твое останется сердцем англичанина, недоступным никакому чужеземному иску-

шению! Ненавидь всех испанцев, Томас, кроме твоей матери, и смотри, чтобы кровь ее не взяла в тебе верх над моею кровью!

Я был в то время еще совсем ребенком и почти не понял ни его слов, ни того, что они означают. Зато позднее я понял их слишком хорошо. Что же касается отцовского совета укротить в себе испанскую кровь, то я всегда старался ему следовать, ибо знал, что именно эта кровь толкала меня на многие дурные поступки. Она была причиной моего необычайного упорства или, вернее, упрямства, и только она возбуждала во мне неподобающую христианину ненависть к тем, кто однажды причинил мне зло. Я делал все возможное, чтобы избавиться от этих и других пороков, однако, как шило в мешке не таи, острое все равно вылезает наружу, и в этом я убеждался неоднократно.

В нашей семье было трое детей: мой старший брат Джеффри, я и моя сестренка Мэри, которая была на год моложе меня. Более очаровательного и нежного создания я не встречал никогда.

Мы были счастливыми детьми. Отец и мать гордились нашей красотой, вызывавшей зависть других родителей. Я был темнее всех, смуглый почти до черноты, а у Мэри испанская кровь сказывалась лишь в ее великолепных бархатных глазах да в цвете щек, румяных, как спелые яблочки. Из-за черных волос и смуглоты мать частенько называла меня своим маленьким испанцем. Но это она делала только тогда, когда отца не было поблизости, потому что такие слова приводили его в ярость. Она так и не выучила как следует английский, однако отец не позволял ей говорить при нем на другом языке. Зато когда его не было, мать говорила по-испански, но из всех детей по-настоящему знал испанский язык только я, да и то скорее всего потому,

что у матери было несколько томиков старинных испанских романов. С раннего детства я обожал подобные истории, и мать убедила меня выучить испанский язык главным образом тем, что обещала мне дать их почитать.

Сердце моей матери все еще тосковало по ее солнечной родине, о которой она часто рассказывала нам, детям, особенно зимой. Зиму она ненавидела так же, как и я. Однажды я спросил, хочется ли ей вернуться в Испанию. Вздрогнув, она ответила, что нет, потому что там живет один человек, ее враг, поклявшийся ее убить, и потому что она привязана всем сердцем к нам и к нашему отцу. Я подумал, что этот человек, задумавший убить мою мать, наверное, и есть тот самый «сатана», как его называл отец, но вслух сказал только, что вряд ли найдется злодей, который осмелится поднять руку на такую добрую и красивую женщину.

— Ах, сынок! — возразила мать. — Он как раз потому и ненавидит меня, что я такая красивая или, вернее, была красивой. Если бы не твой славный отец, Томас, мне, может быть, пришлось бы выйти замуж за другого.

И при этих словах лицо матери побледнело от страха.

Как-то вечером — мне тогда было уже восемнадцать с половиной лет — к нам в «Сторожку» завернул, возвращаясь из Ярмута, друг моего отца, сквайр Бозард, чье поместье находилось в нашем же приходе. В разговоре он обронил, что в порту бросил якорь испанский корабль с товарами. Мой отец сразу насторожился и спросил, кто капитан этого корабля. Сквайр Бозард ответил, что не знает его имени, однако видел капитана на базарной площади; это высокий, статный мужчина, богато разодетый, с красивым лицом и со шрамом на виске.

Услышав его слова, моя мать побелела, несмотря на свою смуглую кожу, и пробормотала по-испански:

— Святая Мадонна! Только бы это был не он!

Отец тоже встревожился и начал подробно расспрашивать сквайра, как выглядит тот человек, но ничего толкового больше не узнал. Тогда он наспех попрощался с гостем, вскочил на коня и поскакал в Ярмут.

В ту ночь моя мать не сомкнула глаз. До утра просидела она в своем глубоком кресле, о чем-то раздумывая. Я простился с ней и пошел спать, а когда поутру спустился вниз, она сидела все в той же позе. До сих пор помню, как я приоткрыл дверь и увидел ее: мать была неподвижна, ее лицо казалось совсем белым в предрасветном сумраке майского дня, а ее глаза были устремлены на решетку входной двери. Я сказал:

— Вы сегодня рано поднялись, мама.

— Я совсем не ложилась, Томас, — ответила она.

— Но почему? Чего вы боитесь?

— Я боюсь прошлого и боюсь будущего, сынок. Только бы твой отец вернулся!

Часов в десять утра, когда я уже совсем было собрался в Банги к моему лекарю, который учил меня искусству врачевания, отец прискакал домой. Мать, ожидавшая его у порога, бросилась ему навстречу. Соскочив с коня, отец обнял ее и сказал:

— Не беспокойся, родная! Это, наверное, не он, у него другое имя.

— Но ты его видел? — спросила мать.

— Нет, он провел ночь на своем корабле, а я торопился к тебе, потому что знал, как ты беспокоишься.

— Я была бы спокойнее, если бы ты его увидел своими глазами, дорогой. Ведь ему ничего не стоит изменить имя!

— Об этом я не подумал, — проговорил отец. — Но ты не бойся! Если даже это и он, если даже он осме-

лится появиться в дитчингемском приходе, здесь найдутся люди, которые знают, как с ним поступить. Однако я уверен, что это не он.

— И слава Богу! — ответила мать.

После этого они заговорили, понизив голос, и я понял, что мне не следует им мешать. Захватив свою тяжелую дубинку, я вышел на тропинку, ведущую к пешеходному мостику, но тут мать неожиданно окликнула меня. Я вернулся.

— Поцелуй меня перед уходом, Томас! — сказала она. — Ты, наверное, удивляешься и спрашиваешь себя, что все это означает? Когда-нибудь отец тебе все объяснит. А я скажу только одно: долгие годы мою жизнь омрачала страшная тень, но теперь я верю, что она рассеялась навсегда.

— Если эту тень отбрасывает человек, то ему лучше держаться подальше вот от этой штучки! — сказал я, со смехом подбрасывая свою тяжелую дубинку.

— Это человек, — ответила мать. — Однако если тебе когда-нибудь и доведется его встретить, разговаривать с ним надо не палочными ударами.

— Не спорю, мама, но в конечном счете это, может быть, самый убедительный довод, с которым согласится любой упрямец, спасая свою шкуру.

— Ты слишком торопишься показать свою силу, Томас, — с улыбкой сказала мать и поцеловала меня. — Не забывай старой испанской пословицы: «Кто бьет последним, тот бьет сильнее!»

— Но ведь есть и другая пословица, мама: «Бей, пока тебя не ударили!»

И на этом я с ней простился.

Когда я отошел уже шагов на десять, что-то словно толкнуло меня, и я обернулся, сам не зная отчего. Моя мать стояла на пороге перед открытой дверью. Ее стройная фигура была как бы заключена в раму из

белых цветов, вьющихся по стенам старого дома. На голове у нее, как обычно, была белая кружевная мантилья, завязанная под подбородком. Неизвестно почему эта мантилья на какое-то мгновение показалась мне издали погребальным саваном. Я вздрогнул от такой мысли и взглянул в лицо матери. Она смотрела на меня печально и нежно, словно прощаясь навсегда.

Это был последний раз, что я ее видел живой.

Глава III

ПОЯВЛЕНИЕ ИСПАНЦА

А теперь я должен вернуться назад и кое-что рассказать о своих собственных делах. Как я уже говорил, мой отец пожелал, чтобы я стал врачом. Поэтому, окончив в Норидже школу и вернувшись домой, — в то время мне шел уже шестнадцатый год, — я принялся изучать медицину под руководством одного лекаря, который пользовал жителей в окрестностях Банги. Звали его Гримстон, и был он человеком весьма знающим, а главное — честным, и поскольку учение мне пришлось по душе, я с его помощью делал большие успехи. Я усвоил почти все, что он мог мне передать, и отец уже поговаривал о том, что, когда мне исполнится девятнадцать лет, он пошлет меня в Лондон для завершения учения. Такие разговоры шли месяцев за пять до появления испанца. Но судьбе не было угодно, чтобы я попал в Лондон.

Не следует, однако, думать, что я в те дни занимался лишь изучением медицины. У сквайра Бозарда из Дитчингема, того самого, что рассказал моему отцу о прибытии испанского корабля, было двое детей: сын и дочка; все его другие дети, — а жена ему их родила немало, — умирали в младенчестве. Так вот, дочку

звали Лили, и она была моей сверстницей, родившейся в том же году, всего на каких-нибудь три недели позже меня. Теперь Бозардов здесь уже нет, ибо моя внучатая племянница, единственная внучка сына Бозарда и его наследница, вышла замуж и носит другое имя. Но это уже между прочим.

С самого раннего возраста все мы — дети Бозарда и дети Вингфилда — жили словно родные братья и сестры. Изо дня в день мы встречались и вместе играли, будь то на снегу или среди цветов. Трудно сказать, когда я впервые почувствовал любовь к Лили и когда она полюбила меня; знаю только, что, когда я отправился в школу в Норидж, с ней мне было тяжелее расставаться, чем с матерью и всей нашей семьей. Во всех наших играх она была вместе со мной. Для нее я готов был целыми днями рыскать по всей округе, лишь бы отыскать те цветы, которые ей нравились. И когда я вернулся из школы, ничто не изменилось. Только Лили стала застенчивее, да и сам я сначала как-то оробел, когда заметил, что она из девочки вдруг превратилась в девушку. Но все равно мы встречались часто, и наши встречи были нам дороги, хотя никто из нас не говорил об этом ни слова.

Так продолжалось вплоть до дня смерти моей матери. Но прежде чем рассказывать дальше, я должен заметить, что сквайр Бозард весьма неодобрительно смотрел на дружбу своей дочери со мной. Происходило это вовсе не потому, что я ему не нравился, а потому, что он хотел выдать Лили за моего старшего брата Джеффри, который был наследником всего отцовского состояния. Мне же он не давал ни малейшей поблажки, так что в конце концов мы с Лили стали встречаться лишь как бы случайно. Зато мой брат всегда был в сквайрском доме желанным гостем. Из-за этого между ним и мной появилась неприязнь: так всегда

бывает, если между друзьями, даже самыми близкими, становится женщина. Надо сказать, что мой брат тоже влюбился в Лили, как это случилось бы на его месте со всяким, и у него на нее было, пожалуй, больше прав, чем у меня: ведь он был на три года старше и его ожидало наследство!

Может показаться, что мое чувство было слишком скороспелым, ибо в то время я еще не достиг даже совершеннолетия. Но молодая кровь горяча, а во мне к тому же была половина испанской крови, сделавшая меня мужчиной в том возрасте, когда большинство чистокровных англичан еще остаются мальчиками. Ведь в таких вещах кровь и согревающее ее солнце значат немало. Я сам в этом убеждался не раз, глядя на индейцев Анауака, которые в пятнадцать лет брали себе в жены двенадцатилетних девушек. А я в восемнадцать лет был, во всяком случае, достаточно взрослым, чтобы полюбить по-настоящему, один раз на всю жизнь, и я это говорю с уверенностью, хотя кое-кому может показаться, будто дальнейшая моя история опровергает эти слова. Однако впечатление это ложно, ибо не следует забывать, что мужчина может любить многих женщин и все же оставаться верным единственной, самой лучшей из всех; может нарушать букву закона любви, но при этом свято блюсти его дух и суть.

Итак, когда мне пошел девятнадцатый год, я был уже вполне сложившимся мужчиной, причем мужчиной весьма привлекательным, — теперь, на старости лет, я могу говорить об этом, отбросив ложную скромность. Не слишком высокий, всего пяти футов девяти с половиной дюймов ростом*, я был зато крепок, широк в плечах и отличался редкой пропорционально-

* Фут равен 30,5 см; дюйм — 2,5 см; то есть Вингфилд имел рост около 176 см. — *Примеч. пер.*

стью сложения. Даже сейчас, несмотря на годы, я все еще сохранил необычайно смуглый цвет кожи и большие темные глаза, а мои слегка волнистые волосы были в те времена черны как смоль. Обычно я вел себя сдержанно и серьезно, так что даже казался мрачноватым, говорил медленно и обдуманно и гораздо лучше умел слушать, чем рассказывать. Прежде чем что-либо решить, я все тщательно взвешивал и обдумывал, но если уже приходил к какому-нибудь решению, изменить его, будь оно плохим или хорошим, разумным или глупым, уже не могло ничто, разве что сама смерть! Кроме того, я в те дни мало верил в Бога, частью из-за тайных бесед с отцом, а частью потому, что мои собственные размышления заставили меня усомниться в учении церкви, как нам его излагали. Юности свойственны поспешные обобщения, и она зачастую приходит к выводу, что все на свете лживо, лишь потому, что какие-то отдельные вещи оказались действительно ложными. Так и я в те дни думал, что Бога нет, потому что священник нас уверял, будто образ Девы Марии Бангийской проливает слезы и творит прочие чудеса, а в действительности все это было ложью. Теперь-то я хорошо знаю, что есть высшая справедливость, ибо в этом убеждает меня вся история моей жизни.

Вернемся, однако, к тому печальному дню, о котором шла речь. Я знал, что в тот день моя любимая Лили выйдет одна на прогулку под большие остриженные дубы своего парка. Это место называется Грабсвелл. Здесь росли, да и теперь еще растут кусты боярышника, зацветающие раньше всех в округе.

Увидев меня в воскресенье у входа в церковь, Лили сказала, что в среду боярышник, наверное, уже расцветет и она придет туда под вечер за его душистыми ветками. Вполне возможно, что она сказала это с определенным умыслом, ибо любовь пробуждает хитрость

даже в душе самой невинной и правдивой девушки. К тому же я заметил, что, хотя рядом стояли ее отец и вся наша семья, Лили постаралась, чтобы мой брат Джеффри ничего не услышал, потому что с ним ей встречаться вовсе не хотелось, а мне она бросила быстрый взгляд своих серых глаз. Я тотчас дал себе клятву, что в среду вечером приду рвать цветы боярышника на то самое место, даже если мне придется ради этого бежать от моего учителя и бросить всех бангийских больных на произвол судьбы. Тогда же я твердо решил, что, если мне удастся застать Лили одну, я больше не стану тянуть и выскажу ей все, что у меня на сердце. Впрочем, это не составляло такой уж великой тайны, ибо каждый из нас читал сокровенные мысли другого, хотя мы и не обменялись еще ни единым словом любви. Я не рассчитывал при этом, что девушка сразу сделается моей невестой — ведь мне еще нужно было завоевать себе место в жизни. Я только боялся, что, если буду медлить и не выясню всех ее чувств, мой старший брат обратится раньше меня к отцу Лили и той придется принять его предложение, которое она бы отвергла, будь мы тайно помолвлены.

Случилось так, что именно в тот день мне было особенно трудно вырваться. Мой наставник-лекарь занемог, и мне пришлось вместо него навестить всех его больных и раздать им лекарства. Лишь в пятом часу вечера я наконец попросту сбежал, ни с кем не простившись.

Милю с лишним я бежал по нориджской дороге, пока не добрался до замка и поворота к церкви, откуда было уже недалеко до дитчингемского парка. Здесь я пошел шагом, ибо вовсе не хотел появляться на глаза Лили запыхавшимся и разгоряченным. Как раз сегодня мне хотелось выглядеть как можно лучше, и я нарочно надел свое воскресное платье.

Спустившись с невысокого холма на дорогу, за которой начинался парк, я вдруг увидел всадника: он остановился на перекрестке и нерешительно поглядывал то на тропу, уходившую направо, то назад, на путь через общинные земли к Графскому Винограднику и реке Уэйвни, то вперед на большую дорогу. По видимому, он не знал, куда ему ехать. Я все это тотчас заметил, хотя и соображал в тот миг не очень-то быстро, потому что голова моя была занята предстоящим разговором с Лили. И еще я заметил, что этот человек был не из наших краев.

Незнакомец — я дал бы ему на вид лет сорок — казался очень высоким, имел благородную осанку и был облачен в богатый бархатный наряд, украшенный золотой цепью, свисавшей у него с шеи. Однако внимание мое целиком захватило лицо незнакомца, в котором в тот миг проглянуло что-то страшное. Длинное, тонкое, изборожденное глубокими морщинами, оно было освещено огромными глазами, горевшими, словно золото на солнце; маленький, красиво очерченный рот его кривила жестокая, дьявольская усмешка; едва заметный рубец выступал на высоком лбу, изобличавшем недюжинный ум. В остальном незнакомец имел облик южанина: он был смугл, его черные волосы слегка вились, так же, как у меня, и он носил остроколючую темно-рыжую бородку.

К тому времени, когда я все это разглядел, я почти поравнялся со всадником, и тут он наконец меня заметил. Мгновенно лицо его переменялось: злобая усмешка исчезла, и теперь оно казалось приятным и добродушным. Весьма вежливо приподняв шляпу, незнакомец что-то забормотал на таком ломаном английском жаргоне, что я разобрал только одно слово — Ярмут. Затем, сообразив, что я его не понимаю, он разразился громкой бранью на чистейшем кастильском

наречии, проклиная английский язык и всех, кто на нем говорит.

Тогда я тоже перешел на его язык и сказал:

— Если сеньор соблаговолит высказать по-испански, что ему угодно, я, может быть, сумею ему помочь.

— Что такое? Вы говорите по-испански, благородный юноша! — воскликнул он с удивлением. — Но ведь вы не испанец, хотя и могли бы им быть с вашей внешностью! Странно, — пробормотал он затем, разглядывая меня. — Черт побери, весьма странно...

— Может быть, это и странно, сэр, — ответил я, — но я тороплюсь. Поэтому скажите, что вам угодно, и не задерживайте меня.

— А я, кажется, знаю, почему вы так спешите! Вон там, чуть подальше за ручейком, я заметил белое платье, — проговорил испанец, указывая рукой в сторону парка. — Послушайтесь совета старшего и будьте осторожны, благородный юноша! Делайте с женщиной что хотите, но ни в чем ей не верьте, а главное — не женитесь, иначе вы доживете до такого часа, когда вам захочется ее убить!

Я сделал движение, чтобы пройти мимо, но испанец заговорил снова:

— Простите меня за эти слова: в них нет ничего худого. Со временем вы, может быть, поймете, что я говорил правду, но сейчас я не стану вас удерживать. Скажите только, по какой дороге я смогу добраться до Ярмута? Я приехал другим путем и теперь совсем запутался в вашей английской стране, где полно деревьев и даже на милю вперед ничего не видно!

Я прошел несколько шагов по тропинке, которая в этом месте сливалась с дорогой, и указал, как ему проехать к Ярмуту мимо дитчингемской церкви. При этом я заметил, что незнакомец все пристальнее всма-

тривается в меня с затаенным страхом. Он словно силится его побороть и не мог. Когда я замолчал, всадник еще раз приподнял свою шляпу, поблагодарил меня и сказал:

— Не скажете ли вы, как вас зовут, благородный юноша?

— Что вам за дело до моего имени? — ответил я резко, потому что этот человек мне не нравился. — Вы ведь мне не сказали, как зовут вас!

— Да, в самом деле. Но я путешествую инкогнито. Может быть, у меня тоже было свидание с одной дамой здесь поблизости!

При этих словах незнакомец странно улыбнулся и продолжал:

— Я только хотел узнать имя того, кто любезно оказал мне услугу, но оказался на деле совсем не так любезен, как я думал.

И он тронул повод своего коня.

— Я своего имени не стыжусь! — ответил я. — До сих пор оно было незапятнанным, и если вы желаете его знать, то я вам скажу: меня зовут Томас Вингфилд!

— Я так и думал! — воскликнул незнакомец, и лицо его исказилось от ненависти. Затем, прежде чем я успел хотя бы удивиться такой перемене, он соскочил с седла и очутился от меня в трех шагах.

— Счастливейший день! Посмотрим теперь, сколько правды в предсказаниях, — пробормотал он, выхватывая из ножен отделанную серебром шпагу. — Имя за имя! Хуан де Гарсиа приветствует тебя, Томас Вингфилд!

Это может показаться странным, но только в тот момент я вспомнил все, что мне довелось услышать о каком-то испанце, появление которого в Ярмуте так взволновало отца и мать. В любое другое время мысль об этом возникла бы у меня тотчас же, но в тот

день я думал только о моей встрече с Лили и о том, что я должен ей сказать, а потому ни для чего другого в моей голове просто не оставалось места.

«Наверное, это и есть тот самый человек», — сказал я себе. Больше я ни о чем не успел подумать, потому что испанец устремился на меня со шпагой в руке. Я увидел прямо перед собой тонкое острие и метнулся в сторону. Я хотел бежать, так как был совсем безоружен, если не считать дубинки, и в таком бегстве не было бы ничего постыдного. Однако при всей моей ловкости я прыгнул слишком поздно. Клинок, нацеленный прямо в сердце, прошел сквозь мой левый рукав и сквозь мякоть предплечья. Больше ничто не было задето, и тем не менее боль от полученной раны сразу заставила меня позабыть о бегстве. Мной вдруг овладела холодная ярость и сильнейшее желание убить этого человека, который без всякого повода набросился на безоружного. В руках у меня был мой верный дубовый посох, который я вырезал у подножия Двойного Холма. Мне оставалось только воспользоваться этой дубинкой наилучшим образом.

Дубинка кажется жалким оружием по сравнению с толедским клинком в руках искусного бойца. Но у нее есть одно достоинство. Когда дубинка взлетает над вами, вы сразу забываете о том, что у вас в руках смертоносная сталь, и, вместо того чтобы пронзить ею врага, стараетесь прежде всего защитить свою голову.

Именно это и произошло в данном случае, хотя я и не могу рассказать, как в точности было дело. Испанец оказался умелым фехтовальщиком. Если бы я был вооружен так же, как он, ему, несомненно, удалось бы со мной быстро справиться. В те годы я не имел ни малейшего опыта в этом искусстве, которое в Англии было почти совершенно неизвестно. Но когда он увидел здоровенную палку, опускающуюся на его голову,

он забыл о своем преимуществе и выставил руку, чтобы смягчить удар. Дубинка обрушилась на тыльную часть его кисти. От удара шпага вылетела и упала в траву. Однако я уже не мог унять, потому что вся кровь во мне кипела. Следующий удар пришелся испанцу по губам: он выбил ему зуб и свалил его на землю. Затем я схватил его за ногу и принялся беспощадно молотить куда попало, стараясь только не попасть по голове, ибо теперь, когда я одержал верх, мне уже не хотелось убивать негодяя.

Так я колотил его до тех пор, пока у меня не устали руки. После этого я принялся пинать его ногами, а он все время корчился, как змея с перебитым хребтом, и изрыгал сквозь зубы ужасные проклятия. Однако он ни разу не вскрикнул и не попросил пощады. Наконец я утихомирился и стал разглядывать своего противника. Воистину он был хорош — весь в ссадинах, синяках и дорожной пыли! Сейчас вряд ли кто-нибудь узнал бы в нем изящного кавалера, которого я встретил менее пяти минут назад. Теперь он лежал передо мной на спине поперек тропинки и смотрел на меня злобными глазами, взгляд которых был отвратительнее всех его кровоподтеков.

— Ну как, мой испанский сеньор, получил по заслугам? — спросил я. — Не знаю, что меня удерживает, а следовало бы разделаться с тобой точно так же, как ты хотел поступить со мной, хотя я тебя и не трогал!

С этими словами я поднял его шпагу и приставил острие к его горлу.

— Коли, проклятый выродок! — прохрипел испанец. — Лучше умереть, чем жить после такого позора!

— О нет! — ответил я. — Я не какой-нибудь чужеземный убийца. Безоружных я не убиваю. Тебе придется ответить за все перед судом. Для таких, как ты, у наших палачей всегда есть в запасе веревка.

— В таком случае тебе придется тащить меня в суд на себе, — прохрипел он и закрыл глаза, словно потеряв сознание. По-видимому, с ним действительно случился обморок.

В тот момент, когда я стоял и раздумывал, что мне дальше делать с этим мерзавцем, взгляд мой случайно упал на просвет в живой изгороди, и там, среди граб-свеллских дубов, в каких-нибудь трехстах ярдах от меня вдруг мелькнуло знакомое белое платье. Мне показалось, что его обладательница удаляется в сторону мостика вблизи водопада, словно наскучив ждать того, кто слишком запоздал. Тогда я подумал, что, если потащу этого человека в деревенскую каталажку или в какое-нибудь другое надежное место, мне уже не удастся сегодня встретиться с моей любимой, а когда еще выпадет такой случай — бог весть! Нет, я вовсе не собирался терять час беседы с Лили ради сведения счетов со всеми не в меру воинственными чужеземцами. К тому же этот и без того получил уже хороший урок за свою наглость. Я подумал, что он и так никуда не денется, пока я улажу мои любовные дела, а если он сам не захочет меня подождать, то я найду способ его к этому принудить.

Конь испанца пощипывал траву шагах в двадцати от меня. Я подошел к нему, отцепил поводья и как можно крепче привязал чужеземца к стоявшему поодаль от дороги дереву.

— Подожди меня здесь, пока я не освобожусь, — проговорил я. — Потом я с тобой разделаюсь.

Но когда я повернулся и начал удаляться, в душу мою закралось сомнение. Я снова вспомнил страх матери и поспешный отъезд отца в Ярмут из-за какого-то испанца. А сегодня испанец появляется в Дитчингеме и, едва узнав мое имя, набрасывается на меня как бешеный, пытаясь убить. Может быть, это и есть тот

самый человек, которого так боялась моя мать? Правильно ли я сделал, оставив его без присмотра только ради того, чтобы встретиться со своей милой? В глубине души я чувствовал, что совершаю ошибку, однако страсть моя была так глубока, а сердце влекло меня с такой неудержимой силой к девушке в белом платье, мелькавшем среди деревьев парка, что я позабыл все свои опасения.

Если бы я вернулся, насколько бы это было лучше и для меня, и для тех, кого в то время еще не было на свете! Тогда они не познали бы ужаса смерти, а я не вкусил бы тоску изгнания, горечь рабства и муки отчаяния на жертвенном алтаре.

Глава IV

ТОМАС ПРИЗНАЕТСЯ В ЛЮБВИ

Итак, я привязал испанца как можно надежнее спиной к дереву, стянул ему руки позади ствола, взял его шпагу и бросился со всех ног вслед за Лили. Подоспел я вовремя, потому что еще минута, и она бы уже свернула на дорогу, которая ведет мимо водопоя к мостику и дальше через парк на холме выходит прямо к дому сквайра.

Заслышав мои шаги, Лили обернулась, чтобы поздороваться со мной или, вернее, чтобы посмотреть, кто это за нею бежит. Озаренная вечерним светом, она стояла с охапкой цветущих ветвей боярышника в руках, и при виде ее сердце мое забилося с бешеной силой. Никогда еще она не казалась мне более прекрасной, чем в тот миг, когда остановилась вот так в белом платье, с полупритворным удивлением на лице и в глубине серых глаз, с бликами солнца на прядях каштановых волос, выбившихся из-под маленького чепчика.

Лили не походила на круглощеких деревенских девочек, вся краса которых заключается в их молодости и здоровье. Она была высокой, стройной юной леди, уже тогда достигшей полного расцвета грации и красоты. Поэтому, несмотря на то что мы были почти ровесниками, рядом с ней я себя чувствовал младшим, и это чувство придавало моей любви к Лили особый оттенок почтительности.

— Ох, это ты, Томас! — проговорила Лили, розовая от смущения. — А я уже думала, ты не придешь. То есть я хотела сказать, что собралась домой, потому что уже поздно. Но что с тобой, Томас? Откуда ты так мчишься? Ой, у тебя вся рука в крови! А эта шпага — где ты ее взял?

— погоди, дай отдышаться, — ответил я. — Давай пройдем обратно к боярышнику, там я тебе все расскажу.

— Но ведь мне пора домой! Я гуляю в парке уже больше часа. Да и цветов на боярышнике почти нет.

— Лили, я не мог прийти раньше! Меня задержали, да еще так необычно! А цветы есть, я видел, когда бежал...

— А я и не знала, что ты придешь, Томас, — проговорила Лили, потупив взор. — Ведь у тебя столько дел! Разве я думала, что ты прибежишь сюда собирать боярышник, словно девочка? Но расскажи мне, что случилось, только не очень длинно. Я немного пройду с тобой.

Мы повернулись и пошли рядышком обратно к подстриженным дубам парка. По дороге я рассказал Лили про испанца, о том, как он пытался меня убить и как я его отделал своей дубинкой. Лили слушала с жадным вниманием и, узнав, что я был на волосок от смерти, даже застонала от страха.

— Значит, ты ранен, Томас? — прервала она

меня. — Смотри, как сильно бежит кровь из руки. Рана глубокая?

— Не знаю, я еще не видел... так спешил!..

— Томас, снимай куртку! Я тебя перевяжу. Нет, нет, не спорь! Так надо.

Не без труда я стянул куртку и закатал рукав рубашки выше того места, где в предплечье была сквозная колотая рана. Лили промыла ее водой из ручья и, не переставая шептать жалостливые слова, перевязала своим платком. По совести говоря, я охотно претерпел бы еще большие страдания, лишь бы она за мной так ухаживала. Ее нежные заботы избавили меня от последних сомнений и придали мне мужество, которое могло бы меня покинуть в ее присутствии. Правда, сначала я не мог найти слов, но, улучив момент, когда Лили перевязывала мою рану, я нагнулся и поцеловал ее милосердную руку.

Лили покраснела до корней волос, лицо ее пылало, словно закатное небо, но еще ярче алела ее рука, которую я поцеловал.

— Зачем это, Томас? — прошептала она. И тогда я ответил:

— Затем, что я люблю тебя, Лили, и не знаю, как мне рассказать о своей любви. Я люблю тебя, дорогая, я всегда любил тебя и буду любить тебя вечно!

— Ты уверен в себе, Томас? — снова прошептала она.

— Я верю в свою любовь больше всего на свете, Лили! Но я хочу быть уверен, что ты тоже любишь меня так же сильно, как я.

Несколько мгновений Лили стояла молча, опустив на грудь голову. Затем она вскинула ее, и я увидел такие сияющие глаза, каких до этого не видел ни разу.

— Неужели ты сомневаешься, Томас? — проговорила Лили.

Тогда я обнял ее и поцеловал прямо в губы. Воспоминания об этом поцелуе я хранил потом всю мою долгую жизнь и помню его до сих пор, хотя я уже стар и сед и стою на краю могилы. Поцелуй этот был для меня величайшим счастьем, какое мне довелось испытать. Увы, он был слишком короток, этот первый чистый поцелуй юношеской любви!

— Значит, — заговорил я снова, еще не придя как следует в себя, — значит, ты любишь меня так же крепко, как я тебя?

— Если ты сомневался раньше, то неужели ты еще сомневаешься теперь? — едва слышно ответила Лили. — Однако послушай, Томас, — продолжала она. — Любить друг друга — прекрасно! Мы рождены друг для друга, и даже если бы захотели разлюбить, это было бы не в нашей власти. Но, как ни сладка и ни свята любовь, нельзя забывать о долге. Что скажет мой отец, Томас?

— Не знаю, любимая, хотя догадаться нетрудно. Я уверен, что он захочет избавиться от меня и выдать тебя за моего брата Джеффри.

— Может быть, но я этого не захочу, Томас. Как бы ни было сильно чувство долга, оно не сможет принудить женщину к замужеству с тем, кто ей не мил. Однако чувство это может помешать ей выйти замуж за любимого, и, повинувшись долгу, я, наверное, не должна была говорить о своей любви.

— О нет, Лили! Любовь — это самое главное, пусть даже она не приносит сразу плодов. Все равно мы будем вместе отныне и навсегда!

— Ах, Томас, ты еще слишком молод, чтобы так говорить. Я тоже молода, однако мы, женщины, быстрее становимся взрослыми. А у тебя... что, если у тебя это только юношеское увлечение, что, если оно пройдет вместе с юностью?

— Оно не пройдет никогда, Лили. Не зря ведь говорят, что первая любовь — самая верная и что посеянное в юности расцветет в зрелые годы. Слушай, Лили, мне придется завоевывать себе место в жизни, а для этого, наверное, потребуется время. Я прошу тебя лишь об одном, хотя и знаю, что просьба моя эгоистична: обещай, что будешь мне верна и ни за что не станешь женою другого, пока я жив!

— Это не просто, Томас, потому что со временем многое изменяется. Однако в себе я уверена, и я обещаю, — нет, я даю тебе в этом клятву! В тебе я не так уверена, но что делать? Женщинам приходится рисковать всем. Если я проиграю, — прощай, мое счастье!

Не знаю, о чем мы еще говорили, но эти слова остались мне в память, и я их запомнил: они были слишком значительны сами по себе и я слишком часто их вспоминал в последующие годы.

Наконец я почувствовал, что мне пора уходить, хотя расставаться нам очень не хотелось. На прощание я еще раз обнял Лили и поцеловал, прижав ее к себе так крепко, что несколько капель крови из моей раны упало на ее белое платье. Случайно я поднял в этот миг глаза и замер от страха. Не далее как в пяти шагах стоял отец Лили, сквайр Бозард, и смотрел на нас далеко не ласковым взглядом.

Как потом оказалось, сквайр Бозард ехал по тропинке к водопою и, заметив под дубами какую-то парочку, слез с коня, чтобы прогнать ее из своего парка. Только подойдя совсем близко, он узнал, кого он собирался прогнать, и теперь стоял перед нами, остолбенев от изумления.

Лили и я медленно отодвинулись друг от друга, глядя на сквайра Бозарда. Это был низенький толстый человечек с красным лицом и строгими серыми глазами; сейчас они от ярости едва не выскакивали

из орбит. На какое-то мгновение сквайр утратил дар речи, но когда он обрел его вновь, слова полились из его уст сплошным потоком. Я уже не помню всего, что он кричал, но общий смысл сводился к тому, что сквайр хотел бы знать, что тут происходит между его дочерью и мной. Я подождал, пока он замолчит, чтобы перевести дух, и, воспользовавшись паузой, ответил ему, что мы с Лили любим друг друга и сейчас обручились.

— Это правда, дочь моя? — спросил сквайр.

— Да, правда, — смело ответила Лили. Тогда он разразился бранью.

— Вертихвостка! — кричал сквайр. — Тебя следует выпороть и запереть, чтобы ты посидела на хлебе да на воде! А ты, мой петушок, испанский ублюдок, запомни раз и навсегда: эта девушка не про тебя! Для нее найдется кто-нибудь получше! Ах ты, пустая коробка из-под пилюль! Да как же ты осмелился волочиться за моей дочерью, когда у тебя в кармане не звенит и двух серебряных пенни? Сначала добудь себе имя и деньги, а потом уже заглядывайся на таких, как она!

— Я так и хочу сделать, и я это сделаю, сэр, — перебил я его.

— Ты сделаешь? Ты, аптекарский мальчишка на побегушках, хочешь добиться имени и положения? Что ж, попробуй! Только пока ты будешь стараться, моя дочь не станет ждать и благополучно выйдет замуж за того, кто всем этим уже обладает, — ты знаешь, о ком идет речь. Дочь моя, сейчас же скажи ему, что между вами все кончено!

— Я не могу так сказать, отец, — ответила Лили, оправляя оборки на своем платье. — Если вы не желаете, чтобы я стала женой Томаса, я исполню свой долг и не выйду за него замуж. Но у меня тоже есть сердце, и никакой долг меня не заставит стать женой того, кого

я не люблю. Я поклялась, что, пока Томас жив, я буду принадлежать только ему, и никому другому.

— Я вижу, ты смелая девчонка, и то хорошо! — проговорил сквайр. — Но теперь послушай, что я тебе скажу: либо ты выйдешь замуж за того, кого я тебе выбрал, и тогда, когда я прикажу, либо я тебя выгоню — и живи как хочешь. Неблагодарная, ты забыла, кто тебя вырастил? А что же до тебя, клистирная трубка, то я тебя отучу целоваться в кустах с дочками честных людей!

И с этими словами он поднял палку и бросился на меня.

Второй раз в этот день горячая кровь вскипела во мне. Я схватил шпагу испанца, которая валялась рядом со мной на траве, и сделал выпад. Положение переменялось. Раньше мне пришлось драться дубиной против шпаги, зато теперь шпага была в моих руках. И если бы не Лили, которая, коротко вскрикнув от страха, успела ударить меня снизу по руке, так что клинок скользнул над плечом сквайра, я наверняка проткнул бы ее отца насквозь и окончил свои дни гораздо раньше — с петель на шее.

— Безумец! — воскликнула Лили. — Неужели ты думаешь, что получишь меня, если убьешь моего отца? Сейчас же брось эту шпагу, Томас!

— Я вижу, мне тут надеяться почти не на что, — запальчиво возразил я, — а потому скажу тебе, что даже ради всех девушек на свете я никому не позволю избить меня палкой, как какого-нибудь мальчишку!

— За это я на тебя не сержусь, парень, — проговорил сквайр Бозард уже добродушнее. — Вижу, что у тебя тоже есть мужество, которое тебе сослужит добрую службу, и считаю, что был не прав, когда в сердцах обозвал тебя клистирной трубкой. Но я уже сказал, что эта девушка не для тебя, а потому лучше тебе

уйти и забыть ее. И берегись, если я еще когда-нибудь увижу, что ты ее целуешь! За это ты заплатишься жизнью. Завтра я еще поговорю обо всем с твоим отцом, так и знай!

— Ну что ж, пойду, потому что мне пора уходить, — ответил я. — Однако я никогда не перестану надеяться, сэр, что когда-нибудь смогу назвать вашу дочь своей женой. Прощай, Лили! Переждем, пока буря утихнет!

— Прощай, Томас! — ответила она, заливаясь слезами. — Не забывай меня! А я свою клятву всегда буду помнить!

Но тут сквайр Бозард схватил ее за руку и увлек за собой.

Мне тоже осталось только уйти, и я удалился, расстроенный, однако не слишком огорченный, ибо знал, что хотя и навлек на себя гнев отца, зато одновременно завоевал искреннюю любовь дочери, а любовь длится дольше, чем злоба, и в конечном счете рано или поздно побеждает.

Отойдя на некоторое расстояние, я наконец вспомнил о моем испанце; за всеми этими любовными и палочными объяснениями он у меня начисто выскочил из головы. Я тотчас повернул вспять, чтобы оттащить испанца в каталажку, заранее испытывая от этого удовольствие, потому что был рад хоть на ком-нибудь сорвать злость. Но судьба спасла его руками дурака. Добравшись до места, я увидел, что испанец исчез, а возле дерева, к которому он был накрепко прикручен, стоит деревенский дурачок Билли Миннс и поглядывает то на дерево, то на серебряную монету у себя на ладони.

— Эй, Билли! Где человек, который был здесь при-вязан? — спросил я.

— Не знаю, мастер Томас, — прошепелявил он на своем норфолкском наречии, — я здесь не стану его воспроизводить. — Должно быть, уже полпути

промчался, а куда — не знаю. Уж очень он быстро поскакал, когда я его посадил на лошадь.

— Ты посадил его на коня, дурак? Когда это было?

— Когда было? Почему мне знать. Может, час прошел, а может, два. Мы во времени не разбираемся. Оно само ведет счет, нас не спрашивая, как хозяин харчевни. Ого, поглядели бы вы, как он поскакал! Шпоры-то у него длиннющие, а он прямо воткнул их в бока своей лошадке! И не диво! Подумать только — среди бела дня посреди королевской дороги на него напали разбойники! Бедняга едва не рехнулся от страха. Слова сказать не мог, только блеял, точно овца. Но Билли развязал его, поймал ему лошадь и посадил в седло. А за свое доброе дело Билли получил вот эту монетку. Ну и обрадовался же он, когда я его отпустил! Ого! Видели бы вы, как он мчался!

— Ты еще больший дурак, чем я думал, Билли Миннс! — сказал я в сердцах. — Ведь этот человек едва не убил меня! Я с ним справился, связал, а ты его отпустил...

— Значит, он хотел вас убить, мастер, а вы его связали? Почему же тогда вы не посторожили его, пока я подойду? Тогда бы мы отвели его и посадили в колдовки. Для нас это все равно что раз плюнуть. Вот вы обозвали меня дураком. А если бы вы нашли человека, привязанного к дереву, всего в крови и в синяках, который даже говорить не может от страха, разве бы вы его не освободили? Вот он и удрал, и осталась от него только эта штучка!

И дурачок подбросил в воздух монету. Сообразив, что на сей раз Билли прав и что я сам во всем виноват, я повернулся и, не говоря ни слова, направился к дому, однако не напрямик, а по тропинке, которая пересекала дорогу и вела к вершине холма Графский Виноградник. Мне хотелось побыть немного одному и обдумать все, что произошло между мной, Лили и ее отцом.

Мой путь лежал по склону, поросшему густым подлеском, среди которого возвышались огромные дубы. Они и сейчас виднеются ярдах в двухстах от дома, где я пишу. Подлесок был прорезан тропинками, по которым частенько гуляла моя покойная мать. Одна из этих тропинок проходила у подножия холма вдоль берега живописной Уэйвни, а вторая шла параллельно ей футов на сто выше, по гребню холма. Иными словами говоря, эти тропинки или, вернее, одна замкнутая тропинка образовывала как бы вытянутый овал, короткие стороны которого поднимались по склонам холма.

Вместо того чтобы направиться вверх по тропинке прямо к дому, я немного спустился и пошел по ее нижней части вдоль берега. Здесь с одной стороны от меня текла река, с другой — рос густой кустарник. Я брел, опустив глаза, погруженный в глубокое раздумье о радости нашей любви, о горечи расставания с Лили и о гневе ее отца. Что-то белое попало мне под ноги. Занятый своими мыслями, я не обратил внимания на эту тряпку и просто отбросил ее в сторону кончиком испанской шпаги. Однако форма и выработка этого куска материи остались в моей памяти. Я прошел еще шагов триста и был уже недалеко от дома, когда вдруг снова представил себе мягкую, нежную вещицу, брошенную на траву. В ней было что-то очень знакомое! Невольно мысль моя перескочила с клочка белой материи на испанскую шпагу, которой я его отбросил в сторону, а со шпаги — на ее владельца. Что привело его в наши края? Наверняка какое-нибудь недоброе дело. Почему он при виде меня испугался и почему, узнав мое имя, напал на меня?

Я остановился, все еще глядя себе под ноги. Случайно взгляд мой упал на следы, отпечатавшиеся на сыром песке тропинки. Это были следы моей матери. Я узнал бы их среди тысячи других, потому что такой

маленькой ножки не было ни у одной женщины во всей округе.

Рядом с ними, словно преследуя их, шли другие следы. Сначала я их принял за женские, настолько они были узки, но тут же сообразил, что это не так: чересчур длинные для женской ноги отпечатки оставила совершенно незнакомая мне обувь со слишком острым носком и на слишком высоком каблуке. И тут я вдруг вспомнил, что на испанце были именно такие сапоги; я хорошо их разглядел, пока с ним разговаривал. Значит, это его следы шли за следами моей матери! Значит, он бежал за нею, потому что во многих местах следы сходились вплотную, а кое-где на сыром песке остались только отпечатки его ног, под которыми исчезли следы матери. И в тот же миг я догадался, какую белую тряпку я отбросил в сторону. Это была мантилья моей матери! Я ее узнал, потому что видел каждый день на голове матери, а тут она валялась на земле. Все это я сообразил мгновенно и оцепенел от невыносимого, острого ужаса. Зачем этот человек преследовал мою мать и почему ее мантилья очутилась на тропинке?!

Я повернулся и бросился бежать как одержимый к тому месту, где заметил белое кружево. Следы все время были передо мной. Вот и то место. Да, это был головной убор моей матери, словно сорванный грубой рукой. Но где же она сама?

С замирающим сердцем я снова склонился над отпечатками ног, стараясь их разобрать. Здесь они перемешались, как будто два человека кружились на месте, то в одну, то в другую сторону, борясь друг с другом. Дальше на тропинке не было видно ничего. Тогда я начал рыскать вокруг, словно гончая. Сначала я направился в сторону реки, затем вверх по склону. Здесь следы появились вновь: одни убегали, а другие их преследовали. Я шел по ним ярдов пятьдесят с лишним,

иногда теряя их на мягком дерне, но снова находя на песке или на суглинке. Так они привели меня к стволу большого дуба и тут снова смешались, потому что здесь преследователь настиг свою жертву.

Теперь я понял все и почти обезумел от страха. Беспорядочно, словно в кошмаре, я заметался во все стороны, пока не увидел продолжения следов — следов испанца. Отпечатки были четкими и глубокими, как будто человек нес какой-то тяжелый груз. Я пошел по этим следам. Сначала они вели меня вниз по склону холма к реке, затем свернули в сторону, к тому месту, где заросли кустарника были гуще. В самой чаще, уже покрытые листьями, ветки были пригнуты к земле, словно для того, чтобы что-то скрыть. Я отвел их в сторону. В наступивших сумерках передо мной смутно белело мертвое лицо моей матери.

Глава V

ТОМАС ДАЕТ КЛЯТВУ

Не знаю, сколько времени я простоял, пораженный ужасом, над телом любимой матери. Потом я попробовал поднять ее и увидел, что грудь ее пронзена, пронзена той самой шпагой, которая все еще была у меня в руке.

Тогда я понял все. Это сделал испанец! Я встретил его, когда он спешил уйти подальше от места преступления. Узнав, чей я сын, он пытался убить меня из ненависти или по какой-то другой причине. И я держал этого дьявола в своих руках и упустил его, не отомстив только потому, что мне хотелось набрать цветущего боярышника для своей милой! Если бы я знал правду, я бы сделал с ним то же самое, что делают жрецы Анауака с теми, кого приносят в жертву своим богам!

Когда я все это осознал, слезы горечи, бешенства и стыда хлынули из моих глаз. Я повернулся и как безумный бросился бежать к дому.

Я встретил отца и моего брата Джеффри у ворот — они возвращались верхом с бангийского рынка. У меня было такое лицо, что, увидев его, оба закричали в один голос:

— Что? Что случилось?

Трижды я поднимал на отца глаза и не решался ответить, боясь, что этот удар его сразит. Но я должен был говорить и в конце концов сказал все, обращаясь к моему брату Джеффри:

— Там, у подножия холма, лежит наша мать. Ее убил испанец по имени Хуан де Гарсиа.

Услышав мои слова, отец побелел так страшно, словно у него остановилось сердце. Челюсть его отвалилась, и глухой стон вырвался из широко раскрытого рта. Однако, уцепившись рукой за луку, он удержался в седле и, склонив ко мне бледное, как у призрака, лицо, спросил:

— Где испанец? Ты убил его?

— Нет, отец. Я встретился с ним случайно близ Грабсвелла. Когда он узнал мое имя, он хотел убить меня, но я обломал об него дубинку, избил его в кровь и отнял у него шпагу.

— Ну а потом?

— А потом я его упустил, потому что не знал, что он сделал с моей матерью. Я все расскажу вам после...

— И ты отпустил его? Ты отпустил Хуана де Гарсиа? Пусть же проклятие Божье лежит на тебе, сын мой Томас, до тех пор, пока ты не dokonчишь того, что начал сегодня!

— Не проклиняйте меня, отец, я уже сам себя проклинал в душе. Поверните лучше коней и скорее скачите в Ярмут, потому что он отправился туда часа два назад.

Там стоит его корабль. Может быть, вы успеете его захватить, пока он не уплыл.

Не говоря больше ни слова, отец и брат круто развернули коней и канули во мраке наступающей ночи.

Всю дорогу они мчались галопом. Кони у них были добрые, и через полтора с небольшим часа бешеной скачки они добрались до Ярмута. Но стервятник уже улетел. По его следам они бросились в порт и узнали, что совсем недавно он отплыл на ожидавшей его лодке к своему кораблю, который стоял на рейде на якоре, заранее распустив почти все паруса. Приняв испанца на борт, корабль тотчас отплыл и затерялся в ночи. Тогда мой отец приказал объявить, что заплатит двести золотых монет тому, кто захватит убийцу, и два корабля пустились за ним в погоню. Но они не успели его перехватить. Задолго до рассвета испанский корабль вышел в открытое море и скрылся из виду.

Тем временем, когда отец и брат ускакали, я созвал всех слуг и работников и объявил им о том, что произошло. Затем, захватив фонари, потому что стало уже совсем темно, мы направились к густым зарослям кустарника, где лежало тело моей матери. Я шел впереди, потому что слуги трусили. Я тоже боялся, сам не знаю чего. Совершенно непонятно, почему мать, которая так нежно любила меня при жизни, теперь, после смерти, внушала мне такой ужас? Тем не менее, когда мы пришли на место и когда я увидел в темноте два горящих глаза и услышал треск сучьев, я едва не упал от страха, хотя и знал, что это может быть только лисица или какая-нибудь бродячая собака, привлеченная запахом смерти.

Наконец я приблизился к матери и подозвал слуг. Мы положили ее тело на дверь, снятую для этого с петель, и так в последний раз моя мать вернулась домой.

Эта тропинка навсегда останется для меня проклятым местом. С того дня, как моя мать погибла от

руки своего двоюродного брата Хуана де Гарсиа, прошло семьдесят с лишним лет; я состарился и привык ко всяким ужасам, но все равно до сих пор не решаюсь ходить этой тропой один, особенно по ночам.

Я знаю, что воображение часто выкидывает с нами злые шутки, однако, когда с год назад я отправился расставлять силки на тетеревов и очутился в ноябрьских сумерках под тем самым дубом, готов поклясться, что вся эта сцена снова предстала передо мной. Я видел самого себя молодым парнем; моя раненая рука все еще была повязана платком Лили. Я медленно спускался по склону холма, а за мной, сгибаясь под тяжестью страшной ноши, двигались силуэты четырех слуг. Как семьдесят лет назад, я снова слышал ропот волн и шум ветра, который шептался с речным камышом. Я видел облачное небо с разбросанными по нему редкими темно-синими просветами и колеблющиеся отблески фонарей на белой, вытянувшейся на двери фигуре с кровавым пятном на груди. Да, да, я сам слышал, как, идя впереди с фонарем в руках, приказывал слугам взять правее, чтобы обойти выбоину, и странно мне было слышать свой собственный юношеский голос. Я знаю, хорошо знаю, что это было только видение, но все мы — рабы своего воображения, и все мы боимся мертвых, а потому даже мне страшно ходить по ночам по этой тропинке, хотя я и сам уже наполовину мертвец.

Но вот мы дошли с нашей ношей до дома, где женщины приняли ее и, рыдая, приступили к последнему обряду. Мне пришлось бороться не только с собственным отчаянием, но и заботиться о моей сестре Мэри; за нее я боялся больше всего. Я думал, что она сойдет с ума от ужаса и горя, но под конец она впала в какое-то оцепенение, а я спустился вниз и принялся расспрашивать слуг, сидевших в кухне вокруг очага. В ту ночь никто не ложился спать.

От слуг я узнал, что примерно за час или чуть больше до того, как я встретился с испанцем, они видели на тропинке, ведущей к церкви, богато разодетого незнакомца. Он привязал своего коня среди кустов ежевики и дрека на вершине холма, некоторое время постоял, словно в нерешительности, пока моя мать не вышла из дому, а затем начал спускаться следом за ней. Я узнал также, что один из наших людей, работавших в саду, расположенном в каких-нибудь трехстах шагах от того места, где было совершено убийство, слышал крики, однако не обратил на них внимания. Он решил, что там забавляется какая-то парочка из Банги, затеявшая обычную майскую беготню по лесу. Воистину в тот день мне казалось, что весь наш дитчингемский приход превратился в приют для дураков, среди которых первым и самым тупым идиотом был я. Эта мысль с тех пор не раз приходила мне в голову уже в иных обстоятельствах.

Но вот пришло утро, и вместе с ним вернулись из Ярмута мой отец и брат. Они прискакали на чужих конях, потому что своих загнали. Следом за ними к полудню пришла весть, что корабли, отплывшие на поиски испанца, из-за шторма вернулись в порт, так и не увидев его судна.

Ничего не утаивая, я рассказал отцу все о моем столкновении с убийцей матери и выдержал новый приступ отцовского гнева за то, что, зная о страхе моей матери перед неким испанцем, не послушался голоса разума и упустил убийцу ради беседы со своей любимой. Брат мой Джеффри тоже не выразил мне ни малейшего сочувствия. Девушка нравилась ему самому, и он разозлился на меня, когда узнал, что мой разговор с Лили не был безрезультатным. Но об этой причине своей неприязни брат промолчал. И последней каплей, переполнившей чашу, было появление сквайра Бозарда, приехавшего вместе с другими соседями взглянуть на

покойную и посочувствовать отцу в его утрате. Покончив с соблезнованиями, он тут же заявил, что моя помолвка с Лили произошла против его воли, что он этого не потерпит и что, если я буду по-прежнему за ней волею, их старой дружбе с отцом придет конец.

Удары сыпались со всех сторон. Смерть любимой матери, тоска по возлюбленной, с которой меня разлучили, угрызания совести за то, что я выпустил испанца буквально из рук, гнев отца и злоба брата — все разом обрушилось на меня. Воистину эти дни были так беспросветно горьки, что в том возрасте, когда стыд и горе воспринимаются всего острее, я мечтал только об одном — умереть и лечь в землю рядом с матерью. Единственное, что меня поддержало тогда, это записка от Лили, переданная с ее доверенной служанкой. В ней Лили уверяла меня в своей нежной любви и заклинала не падать духом.

Наконец наступил день похорон, и мою мать, облаченную в белоснежные одежды, опустили на предназначенное ей место в приделе дитчингемской церкви. Там же рядом с нею покоится ныне и мой отец, а чуть поодаль, под бронзовыми изваяниями, — родители Лили и все их многочисленные дети.

Эти похороны были для меня мучительны. Не в силах сдержать свое горе, отец разрыдался, а моя сестра Мэри без чувств упала мне на руки. Почти все в церкви плакали, потому что, хотя моя мать и была по рождению чужестранкой, ее все любили за обходительность и доброе сердце.

Но вот похороны подошли к концу. Благородная испанская дама и жена англичанина уснула последним сном в старой церкви, где она будет покоиться еще долго после того, как люди позабудут не только ее трагическую историю, но и самое ее имя. А это, как видно, случится скоро, потому что из всех Вингфилдов

в наших краях остался в живых один я. У сестры моей Мэри, правда, есть наследники, к которым перейдет все мое состояние, за исключением некоторых пожертвований на бедных Банги и Дитчингема, однако они уже носят другое имя.

Когда все было кончено, я вернулся домой. Отец сидел в гостиной, погруженный в безысходную скорбь, а рядом с ним — мой брат Джеффри. Отец снова начал осыпать меня самыми горькими упреками за то, что я упустил убийцу, когда сам Бог отдал его в мои руки.

— Вы забываете, отец, он же любезничал с девушкой, — язвительно заметил Джеффри. — А это для него, видно, было куда важнее, чем спасение матери. Ну что же, зато он сразу убил двух зайцев: позволил убийце бежать, хоть и знал, что наша мать больше всего боялась появления испанца, и заодно поссорил нас со сквайром Бозардом, нашим добрым соседом, которому почему-то весьма не понравилось подобное ухаживание.

— Да, ты прав, — отозвался отец. — Кровь матери на твоих руках, Томас!

Я слушал и чувствовал, что больше не в силах переносить подобную несправедливость.

— Все это ложь! — воскликнул я. — И я это повторю даже родному отцу. Ложь! Этот человек убил мою мать до того, как я его встретил. Он уже возвращался в Ярмут к своему кораблю и только случайно сбился с дороги. Почему же вы говорите, что кровь матери на моих руках? Что же до моего ухаживания за Лили Бозард, то это уже мое дело, братец, а не твое, хотя тебе, конечно, хотелось бы, чтобы все было иначе! А вы, отец, почему вы не сказали мне раньше, что боитесь этого испанца? Я слышал только какие-то намеки и не обратил на них внимания, потому что думал о другом. А теперь слушайте, что я вам скажу. Вы, отец, призвали на меня проклятие Божье, чтобы оно тяготело надо мной до

тех пор, пока я не найду убийцу и не завершу того, что начал. Да будет так! Пусть преследует меня проклятие Божье, пока я его не найду. Я еще молод, но зато силен и ловок. С первой же оказией я отправляюсь в Испанию и буду охотиться за ним до тех пор, пока его не прикончу или не узнаю, что он уже мертв. Если вы дадите денег, чтобы помочь мне в поисках, — хорошо; если нет — обойдусь и без них. Но перед Богом и перед духом моей матери я клянусь, что не успокоюсь и не остановлюсь до тех пор, пока не заколю злодея той же самой шпагой, которой была убита она, пока не отомщу за ее кровь убийце или не уверюсь, что он умер, и если я когда-либо почему-либо нарушу свою клятву, пусть погибну я еще более страшной смертью, чем погибла мать, пусть душа моя будет отвергнута в небесах, а имя мое навсегда опозорено на земле!

Так в ярости и отчаянии я дал клятву, воздев руки к небу, чтобы призвать его в свидетели истинности моих слов.

Отец смотрел на меня с одобрением.

— Если ты решился, сын мой Томас, в деньгах у тебя не будет недостатка, — сказал он. — Я бы сделал это сам, ибо кровь можно смыть только кровью, но силы мои уже не те. А потом, меня слишком хорошо знают в Испании, и Святое Судилище меня сразу найдет. Отправляйся же, и да будет с тобой мое благословение! Ты должен это сделать, потому что наш враг ускользнул от нас по твоей оплошности.

— Да, да, он должен ехать, — поддакнул мой брат Джеффри.

— Ты это говоришь только потому, что рад от меня избавиться, — ответил я ему со злостью. — А избавиться от меня тебе хочется для того, чтобы занять мое место подле одной девушки, которую мы оба знаем. Ты хочешь воспользоваться моим отсутствием. Что ж,

попытайся, если совесть тебе позволяет! Но помни — козни за моей спиной не доведут тебя до добра!

— Девушка достанется тому, кто сумеет ее завоевать, — ответил Джеффри.

— Сердце девушки уже завоевано, братец. Ты можешь купить у ее папаши только тело, но никогда не получишь души, а тело без души — незавидная добыча!

— Довольно! — вступился отец. — Не время сейчас болтать о любви и о девушках. Слушайте меня! Я расскажу вам о вашей матери и об испанце, который ее убил. Раньше я не говорил об этом, но теперь я должен сказать вам все.

И отец начал:

— Когда я был молодым парнем, мне пришлось по воле отца отправиться в Испанию. Я попал в монастырь в городе Севилье, однако монахи и монашеская жизнь не пришлись мне по душе, и я оттуда сбежал. Год с лишним я перебивался как мог, потому что после бегства из монастыря боялся вернуться в Англию. Впрочем, жил я не так уж плохо, добывая деньги разными случайными способами, но главным образом — стыдно признаться! — азартными играми, в которых мне всегда везло. И вот однажды ночью за игорным столом я встретил Хуана де Гарсиа. Это его настоящее имя. Он его выболтал Томасу в порыве ярости, когда хотел его заколоть.

В те времена де Гарсиа уже пользовался дурной славой, несмотря на то что был еще совсем юнцом. Но собой он был хорош, отличался приятным обхождением и принадлежал к знатному роду. Случилось так, что он выиграл у меня в кости и, придя в отличное настроение, пригласил в дом своей тетки, знатной севильской вдовы. У нее была единственная дочь, и это была ваша мать. Я узнал, что девушка, Луиса де Гарсиа, обручена со своим двоюродным братом, однако не по собственной воле, ибо контракт о помолвке был под-

писан тогда, когда ей едва исполнилось восемь лет. Тем не менее союз этот считался законным и нерушимым, поскольку в Испании такая помолвка рассматривается чуть ли не как освященный церковью брак. Женщины, связанные подобными обязательствами, обычно не питают к своим нареченным никаких нежных чувств, и так было с юной Луисой. По правде говоря, она просто ненавидела и боялась Хуана де Гарсиа, хотя он, я думаю, по-своему любил ее больше всего на свете. Под разными предлогами она добилась от Хуана согласия отложить свадьбу до тех пор, пока ей не исполнится двадцать лет. Но чем она становилась холоднее, тем больше он загорался желанием завладеть ею, а заодно и ее весьма значительным состоянием. Подобно всем испанцам, он был необузданно страстен и, как все беспутные игроки, всегда нуждался в деньгах.

Скажу, не вдаваясь в подробности, что с первой же встречи я и ваша мать полюбили друг друга, и единственным нашим желанием стало встречаться как можно чаще. Это нам было нетрудно, ибо мать Луисы тоже боялась и не любила своего племянника со стороны мужа и хотела избавить свою дочь от такого супруга. Кончилось все тем, что я открылся в своей любви и мы тайно порешили бежать в Англию. Однако слух об этом дошел до Хуана де Гарсиа, который имел в доме своих соглядатаев и был ревнив и мстителен, как настоящий испанец.

Сначала он попытался отделаться от соперника, вызвав меня на дуэль, однако обстоятельства заставили нас разойтись, не позволив даже обнажить шпаги. Тогда он заплатил наемным убийцам, чтобы они разделались со мной, когда я выйду ночью на улицу. Но у меня под курткой была надета кольчуга, о которую сломались кинжалы бандитов, и я сам заколол одного из них. Дважды потерпев неудачу, де Гарсиа, однако,

не успокоился. Дуэль и убийство из-за угла не помогли, зато оставался еще один, самый надежный способ. Я уже не знаю, как он узнал некоторые подробности моей жизни, например, о том, что я сбежал из монастыря, но с таким козырем на руках ему оставалось только выдать меня Святому Судилищу как еретика и вероотступника. Однажды ночью он так и сделал.

Это произошло накануне того дня, когда мы должны были сесть на корабль и отплыть из Испании. Луиса, ее мать и я сидели в их севильском доме, как вдруг в комнату ворвались шесть человек с капюшонами на головах и, не говоря ни слова, схватили меня. Когда я спросил, что они от меня хотят, они вместо ответа поднесли к моему лицу распятие. Я сразу понял, в чем дело. Женщины отшатнулись, захлебываясь рыданиями. Затем тайно и тихо меня доставили в башню Святого Судилища.

Я не буду рассказывать обо всем, что мне пришлось там вынести. Дважды меня пытали на дыбе, один раз прижигали раскаленным железом, трижды бичевали железными прутьями и все время кормили такими отбросами, какие у нас в Англии никто бы не предложил и собаке. А когда мое «преступное» бегство из монастыря и прочие так называемые святотатства были окончательно установлены, меня приговорили к сожжению.

И вот, когда после целого года пыток и ужасов я уже утратил последнюю надежду и приготовился к смерти, неожиданно пришла помощь. Вечером последнего дня (наутро меня должны были сжечь живьем на костре) в темницу, где я лежал без сил на соломе, явился мой главный мучитель. Он обнял меня и сказал, чтобы я воспрянул духом, ибо церковь сжалилась над моей молодостью и решила вернуть мне свободу. Сначала я дико расхохотался, полагая, что это было только новой пыткой, и не поверил ни одному его слову. Лишь

когда с меня сняли мои лохмотья, одели в приличную одежду и вывели в полночь за ворота тюрьмы, я уверовал, что Бог совершил это чудо. Измученный и пораженный, стоял я возле ворот, не зная, куда мне бежать, когда ко мне приблизилась закутанная в черный плащ женщина и прошептала: «Иди за мной!» То была ваша мать. Из хвастливой болтовни Хуана де Гарсиа она узнала о моей судьбе и решила меня спасти. Трижды все планы ее терпели неудачу, но наконец с помощью одного ловкого посредника золото сделало то, в чем мне отказало правосудие и милосердие. За мою жизнь и свободу ей пришлось заплатить огромную сумму.

Той же ночью мы обвенчались и бежали в Кадис. Однако мать Луисы не смогла последовать за нами, потому что была больна и не вставала с постели. Ради меня ваша любимая мать бросила все, что оставалось от ее состояния после выкупа, заплаченного за мою жизнь, и покинула свою семью и свою родину — так велика любовь женщины!

Все было подготовлено заранее. В Кадисе стоял на якоре английский корабль из Бристоля, «Мэри», за проезд на котором было уже заплачено. Однако неблагоприятный ветер задержал нас в порту. Он был так силен, что, несмотря на все свое желание спасти нас, капитан не решался вывести «Мэри» в открытое море. Мы провели в гавани два дня и еще одну ночь, опасаясь всего на свете, а все же счастливые нашей любовью. И опасались мы не без причины. Тот, кто бросил меня в темницу, поднял тревогу, уверяя всех, что я сбежал с помощью дьявола, своего господина, и меня искали по всему побережью. Кроме того, обнаружив исчезновение своей нареченной и будущей жены, Хуан де Гарсиа сообразил, что мы скрылись вместе. Обостренное ненавистью и ревностью чутье помогло ему проследить наш путь шаг за шагом, и в конце концов он нас нашел.

На утро третьего дня яростный ветер утих, якорь был поднят и «Мэри» двинулась по фарватеру. Но когда корабль начал разворачиваться и матросы приготовились поднять паруса, к борту его подошла лодка с двумя десятками солдат. Еще две лодки спешили за первой. С лодки капитану приказали бросить якорь, потому что по повелению Святого Судилища его корабль должен быть задержан и обыскан. Случайно я оказался на палубе и уже собирался спуститься вниз, чтобы спрятаться, когда один из сидевших в лодке вскочил на ноги и закричал, что я и есть тот самый сбегавший еретик, которого они ищут. В этом человеке я сразу узнал Хуана де Гарсиа.

Наверное, капитан выдал бы меня, испугавшись, что его корабль задержат, а его самого со всей командой упрячут в тюрьму. Но я в отчаянии сорвал с себя одежду и, обнажив страшные раны, покрывавшие все мое тело, закричал матросам: «Англичане, неужели вы отдадите своего соотечественника этим чужеземным дьяволам? Взгляните, что они со мной сделали!» И я показал на едва затянувшиеся язвы, оставленные раскаленными щипцами. «Если вы меня выдадите, вы обречете меня на еще более страшные пытки и я буду сожжен живьем! Сжальтесь хоть над моей женой, если вам не жалко меня! А если в ваших сердцах нет жалости, дайте мне шагу, чтобы я мог умереть и спастись от пыток!»

И тогда один из матросов, уроженец Саутуолда, знававший моего отца, воскликнул: «Клянусь Господом Богом, я за тебя, Вингфилд! Если им нужен ты и твоя любимая, им придется сначала убить меня!» И с этими словами он схватил лук, сбросил с него чехол и, наложив стрелу на тетиву, прицелился в испанцев, сидевших в лодке. Следом за ним и другие матросы закричали: «Если вам нужен кто-нибудь из нас, идите сюда! Возьмите его сами! Суньтесь только, проклятые мучители!»

Глядя на матросов, и капитан обрел мужество. Ничего не ответив испанцам, он приказал половине команды как можно быстрее поднять паруса, а остальным в это время быть наготове, чтобы сбросить солдат, если те полезут на палубу.

Но тем временем подошли еще две лодки и уцепились баграми за борт корабля. Какой-то испанец вскарабкался на руслени, а оттуда на палубу, и я узнал в нем одного из священников инквизиции, который допрашивал меня во время пыток. Бешенство овладело мной, когда я вспомнил, как этот дьявол стоял и угроваривал моих мучителей постараться во имя любви к Господу Богу. Выхватив лук у моряка из Саутуолда, я до предела натянул тетиву и выстрелил. Я не промахнулся, Томас, потому что умел, как и ты, обращаться с луком. Испанец опрокинулся и полетел в море с доброй английской стрелой в груди.

После этого никто уже не пытался подняться на борт: испанцы только стреляли в нас, и им удалось ранить одного человека. Капитан приказал нам оставить в покое луки и укрыться за фальшбортом, ибо паруса уже приняла ветер. И тогда Хуан де Гарсиа поднялся в лодке во весь рост и проклял меня и мою жену.

«Вы от меня все равно не уйдете! — кричал он, пересыпая свою речь проклятиями и бранными словами. — Даже если мне придется ждать двадцать лет, я все равно отомщу вам и всем, кто вам дорог! А ты, Луиса де Гарсиа, помни: где бы ты ни спряталась, я найду тебя, и когда мы встретимся, тебе придется пойти за мной, куда я захочу, или этот час станет твоим смертным часом!»

Но мы уже плыли к Англии, и лодки вскоре остались за кормой.

— Вот, сыновья мои, — закончил рассказ отец, — теперь вы знаете, что случилось со мною в юности

и как я женился на вашей матери, которую сегодня похоронил. Хуан де Гарсиа сдержал свое слово.

— А все-таки странно, — проговорил Джеффри, — что после стольких лет он убил нашу мать. Ведь, по вашим словам, он был когда-то в нее влюблен. Право же, ни один злодей не сделал бы такого!

— Удивляться тут нечему, — ответил отец. — Мы не знаем, о чем они говорили, прежде чем он ее заколол. Ясно только одно: когда он крикнул Томасу, что хотел бы посмотреть, сколько правды в предсказаниях, он имел в виду какие-то слова вашей матери. И потом — много лет назад де Гарсиа поклялся, что либо она пойдет за ним, либо он ее убьет. Твоя мать была еще красива, Джеффри, и, возможно, он предложил ей на выбор — бежать с ним или умереть. А о большем, сын мой, и не старайся узнать...

Тут мой отец закрыл лицо руками и разразился душераздирающими рыданиями.

— Почему же вы не рассказали нам все это раньше, отец? — спросил я, когда снова мог заговорить. — Тогда на земле уже сейчас было бы одним негодяем меньше и мне бы не пришлось отправляться в далекий путь.

Я даже не представлял себе, каким этот путь окажется далеким!

Глава VI

ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ!

Через двенадцать дней после похорон матери и после того, как отец рассказал нам историю своей женьитьбы, я уже был готов отправиться на поиски. По счастью, в Ярмутском порту оказался корабль, отплывавший в Кадис. Это судно водоизмещением в сто тонн носило имя «Авантюристка». Оно шло с грузом сукна

и прочих английских товаров, рассчитывая вернуться с вином и тисовыми палками для луков.

Отец заплатил за мой проезд на судне и, кроме того, дал мне пятьдесят фунтов золотом. Взять с собой больше я не рискнул, но отец снабдил меня также рекомендательными письмами от ярмутских купцов к их агентам в Кадисе: в рекомендациях предписывалось выдать мне любую нужную сумму в пределах ста пятидесяти английских фунтов и в дальнейшем оказывать всяческое содействие.

«Авантюристка» отплывала третьего числа июня месяца. Вечером первого я должен был выехать в Ярмут. Все мои вещи отправили заранее, и я уже попрощался со всеми, кроме одного человека, как раз того, с кем мне больше всего хотелось бы увидеться перед отъездом. Со дня нашего объяснения в любви я видел Лили только на похоронах моей матери, но поговорить тогда мы не смогли. Да и сейчас похоже было на то, что мне придется уехать, так и не сказав ей на прощание ни одного слова, ибо сквайр Бозард велел предупредить, что если я посмею приблизиться к его дому, слуги выставят меня за дверь, а я не желал подвергаться подобному позору.

Тяжко мне было отправляться в столь дальние края, откуда я мог и не вернуться, даже не сказав любимой последнего «прости».

Не зная, как мне поступить, я обратился со своим горем к отцу, рассказал ему обо всем и попросил помочь.

— Я уезжаю, чтобы отомстить за нашу общую утрату, — сказал я. — Может быть, мне придется расстаться с жизнью ради чести нашего имени. Помогите же мне теперь, отец!

— Мой сосед Бозард, — ответил отец, — прочит дочку за твоего брата Джеффри, а не за тебя, Томас.

Своим добром каждый волен распоряжаться как хочет. Однако сегодня я тебе помогу, если сумею. Надеюсь, что меня-то он не выставит за порог! Прикажи оседлать коней: поедем к Бозарду вместе.

Не прошло и получаса, как мы уже были перед домом Лили. Отец сказал, что желает поговорить со сквайром. Слуга, помня приказ своего хозяина, посмотрел на меня с сомнением, однако впустил нас в приемный зал, где сидел, попивая эль, сам сквайр Бозард.

— Добрый день, сосед! — проворчал сквайр. — Рад тебя видеть. Однако ты привел с собой того, кому здесь вовсе не рады, хоть это и твой сын.

— Я привел его сюда в последний раз, брат Бозард, — ответил отец. — Выслушай его просьбу. Ты можешь сказать ему «да» или «нет» — дело твое, однако если ты ему откажешь, наша дружба от этого крепче не станет, потому что парень сегодня в ночь уезжает, чтобы поспеть на корабль и отплыть в Испанию. Он едет на поиски того, кто убил его мать, и едет по своей доброй воле, ибо, сам того не желая, позволил убийце бежать, и я считаю, что он делает правильно.

— Щенок он еще! — проговорил сквайр Бозард. — Молод он для такой охоты, к тому же в чужих краях! Однако мне его смелость нравится, и я желаю ему добра. Чего он от меня хочет?

— Разрешения проститься с твоей дочкой. Я знаю, что его ухаживания тебе не по нраву, и не удивляюсь. Я и сам считаю, что он пока слишком молод, чтобы думать о женитьбе. Но если он еще один раз увидится с девушкой, худого в этом не будет. А теперь — слово за тобой!

Подумав немного, сквайр Бозард ответил:

— Парень-то он бравый, хоть и не бывать ему моим зятем. И едет далеко. Как знать, может, совсем не вернется? Не хочу я, чтобы он поминал меня недобрыми

словами! Ступай-ка вон под тот бук, Томас Вингфилд, и жди. Я пришлю туда Лили. Можешь поговорить с ней полчаса. Только смотри — не больше! Да не уходите никуда, чтобы вас было видно из окон. И не благодари меня, ступай, пока я не передумал!

Я выбежал из дому, с замирающим сердцем остановился под буком и стал ждать появления Лили, словно ангела небесного. Воистину, когда она приблизилась, я подумал, что даже ангел не может быть прекрасней, добрей и нежней.

— О Томас! — прошептала она, когда мы поздоровались. — Неужели это правда, что ты плывешь за море на поиски испанца?

— Да, я плыву, чтобы искать этого испанца, чтобы найти его и убить, когда найду. Тогда я оставил его, чтобы прийти к тебе, а теперь я должен оставить тебя, чтобы найти его. Нет, только не плачь! Я поклялся это сделать, и если не исполню клятву, я буду опозорен.

— А я из-за твоей клятвы должна овдоветь, даже не став женой? Ах, Томас, если ты уедешь, я тебя уже никогда не увижу!

— Почему знать, милая. Мой отец побывал за морями, прошел через все опасности и вернулся благополучно.

— Конечно, он-то вернулся, да еще не один! Ты молод, Томас, а в далеких странах столько прекрасных и знатных дам! Разве я смогу удержать свое место в твоём сердце, когда буду так далеко?

— Клянусь тебе, Лили...

— Нет, Томас, не клянись: зачем брать лишний грех на душу, если ты вдруг нарушишь клятву? Просто помни обо мне, любимый, а я тебя никогда не забуду! Ведь, может быть, — о, сердце мое разрывается, когда подумаю! — может быть, это наша последняя встреча на земле. Но если это так, будем надеяться на встречу

в небесах. Но в одном будь уверен: я буду верна тебе, пока жива, и что бы ни делал отец, я скорее умру, чем нарушу свое обещание. Я молода, конечно, чтобы говорить так уверенно, но так оно и будет. О Боже, это расставание хуже смерти! Уснуть бы сейчас вечным сном, чтобы все нас забыли! А может быть, лучше и впрямь тебе уехать... Ведь если ты останешься, каково нам с тобой будет, пока жив отец, а я ему желаю долгой жизни!

— Вечный сон и забвение придут скоро, Лили: никто еще их не ждал слишком долго. Однако пока мы живы, надо жить. Давай же помолимся, чтобы нам жить друг для друга! Я отправляюсь не только на поиски врага, но и на поиски богатства, и я его завоюю ради тебя, чтобы мы могли пожениться.

Лили горько покачала головой:

— Это было бы слишком большим счастьем, Томас. Люди редко женятся по настоящей любви, а если это и случается, то лишь для того, чтобы тут же потерять друг друга. Будем же благодарны за то, что узнали, какой может быть любовь на земле. И если не встретимся — будем любить друг друга в ином мире, где никто нам не скажет «нет».

Мы долго еще говорили, шепча несвязные слова любви, тоски и надежды, как это сделали бы любой юноша и девушка на нашем месте. Наконец Лили оглянулась с печальной и нежной улыбкой и сказала:

— Пора, милый. Вон в дверях стоит мой отец и зовет меня. Все кончено.

— Тогда будь что будет! — лихорадочно прошептал я и увлек Лили за ствол старого бука. Здесь я схватил ее в объятия и принялся целовать еще и еще, и она, не стыдясь, отвечала на мои поцелуи.

Плохо помню, что было потом. Помню только, что, когда мы уже уезжали, я снова увидел любимое лицо,

печальное и задумчивое: Лили смотрела, как я уходил из ее жизни. Потом в течение двадцати лет это печальное и прекрасное лицо вставало передо мной, как встает оно перед моими глазами сейчас, наперекор всему — и жизни, и смерти. Другие женщины тоже любили меня, и я знавал расставания пострашнее, но воспоминание об этой девушке и ее прощальный взгляд оказались сильнее всего. Вглядываясь в прошлое, я всегда видел ее лицо и знал, что оно никогда не потускнеет. Разве может какая-нибудь печаль сравниться с юношеской печалью? Разве может какое-нибудь горе сравниться с горечью этой разлуки? Я знаю лишь одно такое горе; мне было суждено вкусить его через многие годы, и о нем я расскажу в свое время.

Над первой любовью обычно смеются, но если это настоящая любовь, если это не просто вспышка пробуждающейся страсти, такая первая любовь становится также последней любовью, вечной любовью, самым счастливым или самым горьким уделом, какой только может выпасть на долю мужчине или женщине. Это говорю вам я, старик, немало повидавший на своем веку. И это — святая истина.

Я позабыл рассказать еще об одной вещи. Когда мы с отчаянием в душе целовались и обнимались за стволом старого бука, Лили сняла с пальца кольцо и сунула его мне в руку со словами: «Каждое утро, когда проснешься, смотри на него и вспоминай обо мне!» Это было кольцо ее матери. Оно и сейчас поблескивает при свете зимнего солнца на моей морщинистой руке, которая выводит эти строки. Долгие годы, заполненные самыми невероятными событиями, всегда и всюду, в бою и в любви, при зареве лагерных костров, в отблесках жертвенного огня или под мерцающими одиночными звездами среди безлюдной дикой пустыни это кольцо сияло на моем пальце, напоминая о той, кото-

рая мне его дала. И с этим кольцом я сойду в могилу. На внутренней стороне гладкого золотого кольца выгравирован девиз, сейчас уже полустертое двустиише:

Пускай мы врозь,
Зато душою вместе.

Воистину подходящие для нас слова! Они не утратили своего значения и поныне.

В тот же день мы с отцом отправились верхом в Ярмут. Мой брат Джеффри не поехал с нами, но простились мы дружески, и я этому рад, потому что больше я его уже не увидел. О Лили Бозард и о наших чувствах к ней не было сказано ни слова, хотя я прекрасно знал, что едва я скроюсь за поворотом, он тут же постарается занять мое место в ее сердце. Он и в самом деле сделал такую попытку, но за это я его прощаю. По правде говоря, его нельзя слишком порицать, потому что разве найдется хоть один мужчина, который, увидев Лили, не захотел бы на ней жениться? Вряд ли. А раньше мы всегда были добрыми друзьями, и лишь позднее, когда оба возмужали и между нами встала любовь к Лили, мы начали постепенно отдаляться друг от друга. История довольно обычная. К тому же Джеффри ничего не добился, и сердиться мне на него попросту не за что. Куда лучше вспоминать о нашей детской дружбе, предав остальное забвению. Бог с ним!

Моя сестренка Мэри, которая стала самой красивой девушкой во всей округе после Лили Бозард, горько плакала, разлучаясь со мной. Она была всего на год моложе меня, и мы нежно любили друг друга: ведь в нашей привязанности не было и тени подобного соперничества! Я утешил Мэри как сумел и, рассказав обо всем, что произошло между мною и Лили, попросил ее стать нашим союзником. Мэри обещала сделать

все возможное, и хотя она не сказала, что у нее на уме, однако я понял: сестренка надеется нам помочь. Как я уже говорил, у Лили был брат, весьма многообещающий юноша, в то время он находился в колледже. Сестра и он питали друг к другу глубокую привязанность, которая, возможно, могла бы в дальнейшем вылиться в нечто более прочное.

Итак, мы поцеловались в последний раз и со слезами простились. Отец и я сели на коней и двинулись в путь. Но когда, миновав Пирнхоу-стрит, мы поднялись на невысокий холм за вайнфордскими мельницами, расположенными левее Банги, я придержал своего коня, оглянулся назад, на живописную долину Уэйвни, и сердце мое сжалось от боли.

Если бы я знал все, что мне предстоит пережить, прежде чем я снова увижу родные места, оно бы, наверное, разорвалось. Но Господь Бог, ниспосылающий людям по мудрости своей тяжчайшие испытания, спасает их невведением. Ибо если бы мы обладали даром предвидеть будущее, я думаю, лишь немногие из нас согласились бы жить по доброй воле. Поэтому я только бросил последний долгий взгляд на темнеющие вдаль кроны дубов, за которыми скрывался дом Лили, и тронул коня.

На следующий день я уже был на борту «Авантюристки». Перед самым отплытием сердце отца дрогнуло: он вспомнил, что я был любимцем матери, и испугался, что больше меня не увидит. Отец настолько встревожился, что в самый последний момент изменил свое решение и хотел меня удержать. Но я уже не мог остановиться, я выстрадал всю горечь расставания и не желал возвращаться на посмешище соседям.

— Слишком поздно! — сказал я отцу. — Вы сами хотели, чтобы я отомстил, и побуждали меня к этому самыми жестокими словами. А теперь, даже если я буду знать наверное, что через неделю умру, я все равно не

останусь дома, потому что от таких клятв, как моя, не отказываются, и пока она не исполнена, проклятие будет тяготеть надо мной!

— Да будет так, сын мой! — со вздохом проговорил отец. — Страшная смерть твоей матери затмила тогда мой разум, и я наговорил такого, что боюсь, мне еще придется раскаяться. К счастью, я вряд ли доживу до этого дня, ибо сердце мое разбито. Мне следовало бы вспомнить, что возмездие в руках Божьих и он обрушит его в свое время без нашей помощи. Не поминай меня лихом, мой мальчик, если мы больше не встретимся. Я люблю тебя, и только еще более сильная любовь к твоей матери заставила меня обойтись с тобой так сурово.

— Я это знаю, отец, и не помню зла. Но если вы сами считаете, что вы передо мной в долгу, заплатите мне лишь одним: постарайтесь, чтобы мой братец не вредил нам с Лили, пока меня здесь не будет.

— Я сделаю что могу, сын мой, хотя, признаться, не будь вы так сильно привязаны друг к другу, я бы с удовольствием их поженил. Но, повторяю, я уже недолго смогу заботиться о твоих и о прочих земных делах, а когда меня не станет, все пойдет своим естественным путем. А тебе, Томас, я даю завет: не забывай своей веры и своей родины, что бы с тобой ни случилось, избегай ненужных стычек, держись подальше от женщин, губящих нашу молодость, а главное — следи за своим языком и своим характером, он у тебя далеко не голубиный. Кроме того, где бы ты ни был, не хули веру чужой страны, не насмехайся над ее обычаями и не нарушай их, иначе ты узнаешь, как жестоки бывают люди, когда думают, что это угодно их богам, — это я испытал на себе!

Я ответил, что не забуду его советов, и в действительности позднее они избавили меня от многих неприятностей.

Затем отец обнял меня, благословил, и мы расстались.

Больше я его уже не увидел. Несмотря на то что отец мой был еще далеко не стар, примерно через год после моего отъезда он скончался. Сердечный приступ застиг его в тот момент, когда однажды после воскресной службы он стоял в приделе дитчингемской церкви близ алтаря, размышляя над прахом моей матери. Так он умер, оставив моему брату все свои земли и состояние. Упокой, Господи, его душу! Отец был чистосердечным человеком, но любил мою мать слишком сильно, чтобы широко смотреть на жизнь и всегда быть справедливым. Подобная любовь, естественная лишь для женщин, может превратиться в нечто сходное с обыкновенным эгоизмом и заставить того, кто ею одержим, относиться с безразличием ко всему остальному. По сравнению с матерью дети были для моего отца ничто, и он охотно отдал бы нас всех, лишь бы вернуть ей жизнь. Но в конечном счете это был благородный недостаток, потому что отец в своей страсти о себе совершенно не думал и заплатил за любовь дорогой ценой.

О том, как мы доплыли до Кадиса, куда, по слухам, направился корабль де Гарсиа, рассказывать почти нечего. В Бискайском заливе поднялся встречный ветер и отнес нас к гавани города Лиссабона, где мы и укрылись. Но в конечном счете мы благополучно достигли Кадиса, проведя в море сорок дней.

Глава VII

АНДРЕС ДЕ ФОНСЕКА

Теперь я должен рассказать обо всем, что приключилось со мной за тот год с лишним, который я провел в Испании. Однако я буду краток, ибо если начну вспо-

минать все подробности, то, наверное, скончаюсь сам, так и не успев окончить свою повесть.

Прежде всего я направился вверх по Гвадалквивиру к Севилье. Красотами этого древнего мавританского города восторгались многие путешественники, и я не буду на них останавливаться, потому что мне предстоит рассказ о таких землях, где еще не бывал ни один из вернувшихся в Англию смельчаков.

Итак, буду краток. Я подумал о том, что мне, наверное, придется задержаться на некоторое время в Севилье, и, не желая привлекать внимания, а также для того, чтобы избежать лишних расходов, решил заняться своим прежним делом, то есть продолжить изучение медицины. Для этого я обратился к торговым агентам английской компании, которые должны были мне помочь, и раздобыл у них рекомендательные письма к севильским врачам. В них по моей просьбе я был представлен под именем Диего д'Айла, ибо не хотел, чтобы все знали, что я англичанин. С виду я и не был похож на британца, как уже говорилось, внешность у меня была самая что ни на есть испанская, и подвести могла только моя речь. Но и это затруднение уменьшалось с каждым днем. Зная язык с детства от матери, я не упускал ни единой возможности усовершенствоваться в чтении и в разговоре и уже через полгода в совершенстве овладел кастильским наречием, так что лишь едва заметный акцент отличал меня от настоящего испанца. Изучение языков мне вообще давалось легко.

По прибытии в Севилью я оставил свои вещи в одной из наиболее скромных гостиниц и немедленно отправился, чтобы вручить свое рекомендательное письмо известному севильскому врачу, имя которого я теперь уже позабыл. Этот врач имел прекрасный дом на широкой, обсаженной чудесными деревьями улице

Лас Пальмас, к которой сходились другие маленькие улочки. По одной из них я и пошел из своей гостиницы. Это был узенький, тихий переулок; дома выходили на него замкнутыми с трех сторон внутренними двориками, по-испански — патио. Шагая по переулку, я обратил внимание на человека, сидевшего на табурете в тени у своего патио. Этот маленький сухой старичок с удивительно умными и зоркими черными глазами тотчас меня заприметил.

Дом знаменитого врача был расположен таким образом, что старичок его видел, не вставая с места, и мог следить за всеми, кто входил или выходил из дверей. Отыскав этот дом, я снова вернулся в тихий переулок и принялся прогуливаться по нему взад и вперед, соображая, что мне сказать врачу, и все это время старичок не спускал с меня своих пронизательных глаз. Наконец я приготовил свою речь и направился к дому врача, но только для того, чтобы услышать, что тот куда-то вышел. Спросив, когда его можно видеть, я повернулся и побрел по тому же узенькому переулку. Неторопливыми шагами дошел я до того места, где сидел старичок, но когда я с ним поравнялся, он уронил свою широкополую шляпу, которой обмахивался, прямо к моим ногам. Я нагнулся, поднял ее с мостовой и протянул старичку.

— Премного вам благодарен, юноша! — проговорил он глубоким приятным голосом. — Вы весьма любезны для иностранца.

— Откуда вы знаете, что я иностранец, сеньор? — спросил я, позабыв от удивления об осторожности.

— Если бы я не догадался раньше, я бы узнал это сейчас, — ответил он со спокойной улыбкой. — Ваша кастильская речь говорит сама за себя.

Я поклонился и хотел пройти мимо, когда он снова заговорил со мной:

— Вы куда-то спешите, мой юный друг? Не зайдете ли выпить со мной стаканчик винца? Оно того стоит!

Я уже решил было отказаться, но вдруг подумал, что делать мне совершенно нечего, а тут я, может быть, узнаю из его разговоров что-нибудь полезное.

— Благодарю вас, сеньор, — сказал я. — День сегодня жаркий, и я не прочь освежиться.

Он тотчас молча поднялся и провел меня во внутренний, вымощенный мраморными плитами дворик, весь увитый виноградными лозами. Посреди дворика был бассейн, заполненный водой, подле которого в тени виноградной листвы стояли стулья и маленький столик. Затворив дверь патио, старичок усадил меня, взял со стола серебряный колокольчик и позвонил. Из дома выбежала молоденькая прелестная девушка в причудливом испанском наряде.

— Подай нам вина! — приказал старичок.

Вино появилось мгновенно, белое вино «Опорто», подобного которому я еще не пробовал ни разу.

— За ваше здоровье, сеньор... — И здесь мой хозяин остановился, подняв бокал и вопросительно глядя на меня.

— Диего д'Айла, — отозвался я.

— Гм, гм, — пробормотал он. — Имя испанское или, вернее, подражание испанскому, потому что я такого не слышал, а у меня на имена хорошая память.

— Это мое имя, а об остальном думайте, как вам будет угодно, сеньор... — И я, в свою очередь, выжидательно посмотрел на него.

— Андрес де Фонсека, — представился он с поклоном, — врач этого города, и достаточно известный, особенно среди представительниц прекрасного пола. Будь по-вашему, дон Диего, я принимаю это имя, ибо имена ничего не значат и время от времени их можно просто менять. Я полагаю, что это никого, кроме их вла-